
МАРИЯ ШЕФЕР
СЕРДЦЕ НЕ МОЛЧИТ
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА · КНИГА 3

Мария Шефер

Сердце не молчит

«Автор»
2026

Шефер М.

Сердце не молчит / М. Шефер — «Автор», 2026

- Не смей меня спасать.Мне тридцать шесть. Я следователь по особо важным делам. Семнадцать лет я доказываю, что мой отец не подписывал акт приёмки причала, который рухнул в день открытия. Погибли четверо. Одним из них был мой младший брат.В субботу в меня стреляли. В воскресенье в семь утра в мою дверь позвонил сын человека, которого я собираюсь посадить. Под два метра, не моргает, пьёт только воду и в каждой комнате считает выходы. Отец велел ему меня охранять. Я велела ему уйти. Он сел на ступеньку у моей двери и просидел там до утра.Мне было тринадцать, когда я стоял за синим вагончиком и смотрел, как чужая рука срисовывает подпись её отца. Вечером я рассказал об этом участковому. Ночью мой отец сказал: "Ты ничего не видел. Выпрями спину".Я выпрямил. И молчал семнадцать лет.Теперь я ношу в кармане её сигареты и выдаю по одной в час. Мне нужно сказать ей правду, пока её не убили. И пока она не узнала её от кого-то другого.Я умею молчать. Но сердце не молчит.

© Шефер М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА 1. НЕ СМЕЙ МЕНЯ СПАСАТЬ 5
ГЛАВА 2. ВЫХОДОВ ТРИ 13
ГЛАВА 3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 20
ГЛАВА 4. ПРИСТАВ 28
ГЛАВА 5. КАРИНА 34
ГЛАВА 6. СЕМЕЙНЫЙ УЖИН 41
ГЛАВА 7. ПОЖАР 48
ГЛАВА 8. БЕЛЫЕ НОЧИ 55
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Мария Шефер
Сердце не молчит

ГЛАВА 1. НЕ СМЕЙ МЕНЯ СПАСАТЬ

Ирина

Акт приёмки причала № 3, порт "Северный", пос. Каменный Мыс, 20 августа 2010 года: "Замечаний нет. Главный инженер порта Громов Ф. И." Подпись.

В меня стреляли в субботу, в семь утра, а в воскресенье, в семь утра, в мою дверь позвонили.

Я не спала. Я вообще плохо сплю, а после того, как лобовое стекло перед твоим лицом за полсекунды превращается в паутину, сон не идёт совсем. Я сидела на кухне, на подоконнике, с ногами, и смотрела на двор. Двор в Лефортове в семь утра воскресенья похож на заброшенную декорацию: качели, мусорные баки, чья-то "Нива" с прошлогодним листом на дворнике. Пристав спал на холодильнике и время от времени дёргал хвостом, как будто отгонял меня во сне.

Левую руку у меня саднило. Стекло. Ничего серьёзного, четыре пореза на запястье и один на скуле, врач в травмпункте сказал "повезло" таким тоном, будто это я виновата, что мне повезло. Пальто пришлось замочить в тазу. Кровь с серой шерсти отходит плохо. Я это знаю ещё со студенческих времён, когда подрабатывала в морге санитаркой, но это к делу не относится.

Звонок повторился. Коротко, один раз. Вежливо.

Я слезла с подоконника и взяла со стола табельный. Это было глупо. Люди, которые хотят тебя убить, не звонят в дверь в семь утра воскресенья. Они стреляют через лобовое стекло, когда ты тормозишь у Генпрокуратуры, чтобы занести бумажку, которую никто не хотел у тебя брать. Но рука сама взяла. Рука у меня умнее головы.

В глазок я увидела плечо.

Это было очень большое плечо в тёмной куртке. Оно занимало весь глазок. Потом плечо отодвинулось, видимо, его хозяин догадался, что я смотрю, и отступил на шаг. Я увидела лицо.

Я узнала его не сразу. Я видела его один раз в жизни, полтора года назад, в зале совета директоров на сорок девятом этаже, где четырнадцать мужчин в одинаковых галстуках сидели вокруг стола, а он стоял у стены. Он единственный не сидел. Я тогда вошла с удостоверением, и все повернули головы, а он не повернул. Он просто перевёл на меня глаза. Светлые, почти прозрачные. И я, помнится, подумала: этот считает выходы. А ещё подумала: охранник. Сын, но охранник. Странная семья.

Младший Ледовский. Павел Викторович.

Я открыла дверь на цепочку.

- Нет, - сказала я.

Он помолчал. Лицо у него было неподвижное, как у человека, которого в детстве долго фотографировали на документы. Небритый. Под глазами тени, как у меня. Куртка в пыли, на ботинках сухая глина. От него пахло бензином и дорогой.

- Доброе утро, - сказал он.

- Нет, - повторила я. - Что бы вы ни хотели, нет. Если это по делу, у меня приёмные часы во вторник и в четверг, с десяти до часу, Технический переулок, вас пропустят по паспорту. Если это от вашего отца, передайте ему, что я благодарна за беспокойство. Если вы пришли извиниться за то, что меня вчера чуть не застрелили, то это не к вам, я пока не знаю, к кому. До свидания.

Я начала закрывать дверь. Он не поставил ногу в проём. Не придержал. Просто стоял и смотрел.

- Вас вчера чуть не застрелили, - сказал он.

- Я в курсе.

- Две пули. Девять миллиметров. Стреляли с мотоцикла, с расстояния четыре метра, справа. Стреляли в голову. Вас спасло то, что вы в этот момент наклонились за телефоном.

Я остановилась.

Этого не было ни в одной сводке. Про телефон я сказала только операм, на месте, и потом в протоколе. Протокол лежал у меня в папке, папка лежала у меня в сейфе. Сейф был у меня на работе.

- Откуда вы знаете?

- Я смотрел запись с камеры на углу Большой Дмитровки, - сказал он. Просто, как говорят "я ел кашу".

- Её изъяли вчера в десять утра.

- В девять пятьдесят восемь я её посмотрел.

Пристав спрыгнул с холодильника и пришёл в прихожую. Он у меня не ходит встречать гостей, он их презирает. Он подошёл к двери, посмотрел сквозь щель на чужие ботинки и сел.

- Павел Викторович, - сказала я. - Вы понимаете, что сейчас разговариваете со следователем? Что всё, что вы говорите, я могу использовать?

- Да.

- Вы только что признались, что получили доступ к доказательствам по уголовному делу раньше следствия.

- Да.

- Ну и?

Он чуть сдвинул голову. Мне показалось, что он думает, как ответить, и выбирает самый короткий вариант.

- Мне поручено вас охранять, - сказал он.

Тут я рассмеялась. Это вышло неожиданно даже для меня. Смех был нехороший, хриплый, от недосыпа и от того, что у меня до сих пор слегка дрожали руки, и я злилась на них за это.

- Кем поручено?

- Отцом.

- Вашим отцом. - Я сняла цепочку. Мне вдруг стало всё равно, я хотела видеть его лицо целиком. - Виктором Андреевичем Ледовским. Основателем холдинга "Ледовский групп". Под которого я, если вы не знаете, копаю. Вашему отцу поручено меня охранять?

- Мне.

- Вам. От кого?

Он посмотрел мимо меня, в глубину квартиры. Я видела, как его взгляд прошёл по прихожей, по кухне, по окну, по двери в комнату. Ровно, быстро, по кругу. Я эту манеру знаю. Так смотрят люди, которые когда-то очень долго жили там, где от этого зависит, вернёшься ли ты вечером.

- От тех, кто стрелял, - сказал он.

- А кто стрелял?

- Не знаю. Пока.

- А ваш отец знает?

Пауза. Короткая, но я её отметила. Я двенадцать лет на допросах. Паузы - это моя профессия.

- Я не знаю, что знает мой отец, - сказал он.

Это была правда. Это было видно. И от этого мне почему-то стало ещё злее.

- Значит, так, - сказала я. - Слушайте внимательно, я повторять не буду. Я майор юстиции. Я семнадцатый год занимаюсь делом, по которому ваша семья проходит как... В общем, проходит. Если мне понадобится охрана, у меня есть государство, оно обязано меня охранять по закону, там целая статья, могу прислать номер. Если мне понадобится охрана от вашей семьи, я её тоже попрошу у государства. Охраняться у Ледовских от тех, кто стреляет в меня из-за Ледовских, я не буду. Это всё равно что лечиться у отравителя. Понимаете?

- Понимаю.

- Не смей меня спасать, - сказала я. Я не знаю, почему на "ты". Вылетело. - Ни ты, ни твой отец, ни ваш холдинг. Никто. Всего хорошего.

И закрыла дверь.

Я постояла, прислонившись к ней спиной. Пристав посмотрел на меня снизу с выражением глубочайшего презрения, встал и ушёл на кухню. Я слушала. Лифт не поехал. Шагов по лестнице тоже не было.

Через минуту я снова посмотрела в глазок.

Он сидел на ступеньках. На верхней, напротив моей двери, спиной к стене, так, чтобы видеть и лифт, и лестницу вниз, и лестницу вверх. Руки на коленях. Глаза открыты. Он не смотрел в телефон. Он вообще ничего не делал. Просто сидел, как сидят на остановке, когда автобус придёт через час и это не страшно.

- Ну и пожалуйста, - сказала я вслух.

Пристав на кухне что-то уронил.

* * *

В девять я сварила кофе. Растворимый, из банки, в которой осталось на две ложки. Посмотрела в глазок. Сидел.

В десять мне позвонил Ваня Кудрин, мой напарник, капитан юстиции, двадцать восемь лет, сто килограммов доброты и четыре монитора на столе. Он спросил, жива ли я, и не нужно ли мне чего-нибудь, например, пиццы, у него как раз акция. Я сказала, что жива и что пиццы не нужно. Потом спросила, кто вчера изымал запись с камеры на Большой Дмитровке. Он сказал, что опера с Петровки, и что запись хреновая, номер у мотоцикла заклеен, шлем чёрный, куртка чёрная, перчатки чёрные, рост средний, телосложение среднее.

- А время изъятия? - спросила я.

- Десять ноль пять. А что?

- Ничего. Ваня, посмотри, кто имел доступ к той камере до изъятия. Владелец, обслуживающая компания, кто угодно.

- Ирин Фёдоровна, сегодня воскресенье.

- Я в курсе.

- Понял, - вздохнул Ваня. Он всегда так вздыхает, когда я говорю "я в курсе". Он говорит, что у меня эта фраза звучит как "расстрелять". - Ещё что-нибудь?

- Нет.

Я положила телефон. Посмотрела в глазок. Сидел. Не двигался. Мне показалось, что он даже не моргнул за всё это время, хотя с такого расстояния, конечно, не разглядеть.

В одиннадцать мне стало стыдно, и я на это разозлилась.

Я ничего ему не должна. Я его не звала. Он взрослый человек, в армии, наверное, сидел и не так. Охранник. Сын, охранник, пёс на коврике. Пусть сидит хоть до вторника, у меня приёмные часы во вторник. Я вымыла чашку. Вытерла. Поставила на полку. Сняла с полки, налила воды из фильтра. Поставила на стол. Посмотрела на неё.

Это не забота. Это санитарные нормы. Если он грохнется в обморок от обезвоживания у меня на площадке, соседи вызовут скорую, а скорая вызовет полицию, а полиция найдёт у меня в квартире следователя, которого вчера пытались застрелить, и сына фигуранта на лестнице. Мне этого не надо.

Я открыла дверь.

Он поднял голову. Не вскочил. Посмотрел на меня, потом на чашку.

- Пей, - сказала я.

Он встал. Это было как если бы встал шкаф. Взял чашку. Пальцы у него были большие, с белыми шрамами на костяшках, и чашка в них казалась кукольной. Выпил в три глотка и вернул.

- Спасибо.

- Это не забота, - сказала я. - Это санитарные нормы.

- Понял.

- Ты собираешься тут сидеть до ночи?

- Да.

- А потом?

- Потом ночь.

Я посмотрела на него. Он смотрел на меня. Лицо у него ничего не выражало, совсем ничего, но мне вдруг показалось, что он не шутит, а просто сообщает факт, как сообщают прогноз погоды.

- У тебя есть работа? - спросила я. - Холдинг, служба безопасности, всё такое. Совещания. Подчинённые. Ты не можешь сидеть на лестнице в Лефортове.

- Могу, - сказал он. - Я начальник.

Это было так неожиданно, что я чуть не засмеялась. Чуть. Удержалась. Я хорошо держусь, это у меня профессиональное.

- Слушай, Ледовский, - сказала я. - Давай без дураков. Чего ты хочешь? На самом деле. Не "мне поручено". Твой отец хочет знать, что я нашла? Хочет, чтобы ты был рядом и видел мои бумаги? Это я понимаю. Это нормальная схема. У меня таких было три за семнадцать лет. Один предлагал деньги, один предлагал работу в Генпрокуратуре, а один просто сломал мне машину. Ты какой по счёту?

Он долго молчал. Я ждала. Где-то внизу хлопнула дверь подъезда, кто-то поехал на лифте вниз, и он, не поворачивая головы, проводил звук глазами.

- Четвёртый, - сказал он наконец. - Я не буду смотреть твои бумаги.

- Почему?

- Потому что я не хочу знать, что там.

Он сказал это тихо и как-то странно, и я поняла, что это тоже правда. Только я не поняла, какая.

- Иди домой, Павел Викторович, - сказала я. - Пожалуйста.

- Нет.

Я закрыла дверь.

* * *

Он просидел там весь день.

Я делала вид, что работаю. Разложила на полу в комнате копии из коробки номер семь, той, где показания свидетелей 2010 года. Я знаю их наизусть. Я могу процитировать любой протокол с любого места, как другие цитируют "Евгения Онегина". Крановщик Белов, погиб. Сварщик Ахметов, погиб. Подсобник Ковалёв, погиб. Подсобник Громов Константин Фёдорович, семнадцать лет, учащийся, работал на причале по временному договору на летних каникулах. Погиб.

Свидетели: двадцать два человека. Все видели, как причал пошёл вниз. Никто не видел, как его принимали. Акт приёмки подписан главным инженером порта, моим отцом. Подпись настоящая, сказала экспертиза 2010 года. Мой отец на суде сказал, что не подписывал. Ему дали пять лет. Он умер на третьем году, в колонии под Архангельском, одиннадцатого марта, сердце. Ему было пятьдесят четыре.

Сроки давности по этому делу истекли в двадцатом году. Посадить за причал уже нельзя никого. Я это знаю лучше всех. Я пятнадцать раз писала об этом в рапортах, когда меня спрашивали, зачем мне всё это. Мне не надо никого сажать. Мне надо, чтобы под словами "Громов Ф. И., виновен" кто-то написал "невиновен". Чтобы мать, когда идёт в магазин, перестала опускать глаза. Чтобы на памятнике у Кости на кладбище в Каменном Мысе кто-то стёр то, что написали баллончиком в одиннадцатом году. "Сын убийцы". Его закрасили. Но если знать, где смотреть, буквы видно до сих пор.

Две недели назад я нашла в архиве Росреестра старый договор, к которому была приложена расписка одного человека. Почерк на расписке был мне знаком. Я семнадцать лет смотрю на этот почерк. Это почерк, которым на акте приёмки написано "Громов Ф. И.". Только расписка подписана другой фамилией.

В пятницу я отвезла запрос в Генпрокуратуру, чтобы получить образцы. Никто не хотел у меня его брать. В субботу утром я повезла его снова.

В воскресенье на моей лестнице сидел сын того, кто в 2010 году был генеральным директором.

Я сидела на полу среди бумаг и думала, что всё это не может быть совпадением. А потом думала, что всё может. А потом не думала ничего, потому что Пристав лёг мне на колени, как на подушку, и замурчал. Он никогда так не делает. Я посмотрела на него с подозрением. Он смотрел на дверь.

В восемь вечера я заказала еду. Китайскую, лапшу в коробке. Курьер позвонил снизу, я открыла и стала ждать у двери. Когда лифт пришёл, я посмотрела в глазок. Он стоял. Он стоял между мной и лифтом, и курьер, маленький парень в жёлтой куртке, вышел из кабины и уткнулся взглядом ему в грудь.

Он что-то сказал курьеру, очень тихо. Взял пакет. Посмотрел в пакет. Посмотрел на курьера. Тот кивнул, быстро-быстро, и уехал вниз, не дожидаясь, пока ему откроют.

Он постучал. Два раза.

- Ты что, проверил мою лапшу? - спросила я через дверь.

- Да.

- И как?

- Лапша.

Я открыла. Он протянул пакет. Я взяла и посмотрела на него. Двенадцать часов на лестнице. Ни телефона, ни книги. У него даже позы не поменялись. Только тени под глазами стали глубже.

- Ты ел? - спросила я.

Я не знаю, зачем я это спросила. Я двенадцать лет на допросах, я никогда никого не спрашиваю, ел ли он. Я спрашиваю, где он был в ночь с пятого на шестое и почему у него на ботинках кровь потерпевшего.

- Нет, - сказал он.

Я стояла с пакетом. Он стоял. Пристав вышел в прихожую, сел у моей ноги и уставился на него.

- Ладно, - сказала я. - Это санитарные нормы. Половина. На лестнице. Я тебе вынесу. В квартиру ты не войдёшь.

- Понял.

Я разложила лапшу на две тарелки. Подумала. Положила ему больше, потому что он больше. Это тоже санитарные нормы, если вдуматься. Вынесла ему тарелку и вилку. Он сел обратно на ступеньку, поставил тарелку на колено и стал есть. Медленно, аккуратно, ни одной капли соуса мимо.

Я сама не знаю, почему села на порог. Дверь осталась открытой. Мы ели молча, я в проёме своей двери, он на лестнице, в трёх метрах. Пристав вышел на площадку. Я хотела его загнать,

он у меня никогда не выходит на площадку, он там всё ненавидит. Он прошёл мимо меня, подошёл к Ледовскому, обнюхал ботинок с глиной и лёг на него. Прямо на ботинок. Всеми своими восемью килограммами серого презрения.

Ледовский посмотрел вниз. Поставил тарелку. Протянул руку и очень осторожно, одним пальцем, почесал кота за ухом.

Пристав замурчал.

- Предатель, - сказала я.

- Он умный, - сказал Ледовский.

- Он бывший уличный. Он никого к себе не подпускает. Его даже ветеринар трогает только в перчатках.

- Он умный, - повторил он.

Я посмотрела на них. Большой молчаливый человек на ступеньках, кот у него на ботинке. Лампа на площадке мигала. Где-то этажом выше играло радио.

- Где ты был вчера утром, Ледовский? - спросила я.

Он поднял глаза.

- В Костроме. На берегу Волги. У брата.

- В семь утра?

- Спал. Брат подтвердит. И семь человек. И собака.

- А вечером?

- Отец приехал. Дал мне фотографию вашей машины. Сказал: "Поедешь к ней. Завтра. Будешь её охранять".

- И ты сразу поехал.

- Нет. Утром. В три. Ехал четыре часа. Пробок не было.

Он отвечал, как на допросе. Коротко, по делу, без лишнего. Хороший свидетель. Таких мало.

- А что ещё сказал твой отец? - спросила я.

И вот тут он замолчал. Не так, как молчал весь день, ровно и спокойно. По-другому. Что-то двинулось у него в лице, совсем немного, как двигается вода, когда под ней проходит рыба. Он смотрел на кота. Потом сказал:

- Что ты его посадишь.

- Твоего отца?

- Да.

- И он прислал тебя меня охранять.

- Да.

Я поставила тарелку на порог.

Я семнадцать лет думала о Викторе Ледовском. Я знаю его биографию лучше, чем свою. Год рождения, первый кооператив, первая стройка, первый суд, жена, умершая в две тысячи втором, четверо детей, награды, интервью, привычки, болезни. Я знаю, что ему дали полгода. Я знаю, что он был на открытии причала. Я видела фотографии: он перерезает ленточку, рядом заместитель по строительству, рядом губернатор, а сзади, у края кадра, на всех снимках, мой отец. Он там единственный без улыбки. У него лицо человека, который сейчас закричит.

Я думала о Ледовском всякое. Но никогда не думала, что он может прислать ко мне сына. Чтобы я дожила до того дня, когда смогу его посадить.

- Почему? - спросила я.

Он покачал головой. Один раз.

- Я не знаю, - сказал он. - Спроси у него.

- Спрошу, - сказала я. - Обязательно. Под протокол.

Я встала, взяла обе тарелки и вилки. Пристав не пошевелился. Он лежал на ботинке и мурчал, как трактор.

- Пристав, домой.

Пристав закрыл глаза.

Ледовский осторожно, двумя руками, поднял кота с ботинка, как поднимают что-то хрупкое, и протянул мне. Кот висел у него в руках, как тряпка, и мурчал. Я взяла его. Он был тёплый.

- Спокойной ночи, Ирина Фёдоровна, - сказал Ледовский.

Он знал моё отчество. Ну конечно. Он знал всё. Он смотрел запись с камеры за семь минут до изъятия.

- Я позвоню в полицию, - сказала я. - Скажу, что у меня на лестнице посторонний.

- Хорошо.

- Они тебя заберут.

- Нет, - сказал он. Без всякой угрозы. Как "дождя не будет".

Я закрыла дверь. Заперла на оба замка. Постояла. Пристав у меня на руках вывернулся, спрыгнул и сел у двери, лицом к ней, как часовой.

В полицию я не позвонила.

Я легла в половине второго. Лежала и смотрела в потолок. Слушала тишину на лестнице. Её было очень много, этой тишины. Я никогда раньше не замечала, сколько тишины умещается на лестничной площадке девятиэтажки в Лефортове, если за дверью сидит человек, который не двигается.

В три часа ночи что-то зашуршало. Я села в кровати. Сердце колотилось. Прислушалась. Шаги. Медленные. Вниз по лестнице. Хлопнула дверь подъезда.

Ушёл, подумала я. Ну вот. Ушёл. И почему-то совсем не обрадовалась.

Я встала и пошла к окну. Во дворе, под единственным горящим фонарём, стояла большая тёмная фигура. Она обошла двор по кругу. Медленно. Посмотрела на каждую машину, наклонилась к одной, заглянула под днище. Посмотрела на окна. На моё окно. Я отшатнулась. Потом подумала, что это глупо, у меня темно, и снова подошла.

Он вернулся к подъезду. Через минуту я услышала шаги наверх. Медленные. Потом стало тихо.

Я посмотрела в глазок. Сидел.

Я пошла на кухню и долго стояла у окна, курила в форточку и думала, что за семнадцать лет меня пытались купить, запугать, уволить и вчера застрелить. Но никто ни разу не пытался вот так. Просто сидеть.

Это была самая неприятная тактика из всех, что я видела.

Я потушила сигарету. Достала из шкафа старый плед, тот, что мама прислала мне посылкой три года назад и который я так ни разу и не развернула. Он пах домом, морем и шерстью. Я открыла дверь.

Он поднял голову.

Я бросила ему плед. Он поймал не глядя.

- Санитарные нормы, - сказала я. - На лестнице ночью холодно. Ты мне тут нужен живой. Как свидетель.

- Свидетель чего?

- Пока не знаю, - сказала я. - Но у тебя лицо свидетеля. Я таких видела.

Он посмотрел на плед. На вышитую в углу маминой рукой синюю рыбу. Потом на меня. И мне показалось, на одну очень короткую секунду, что я попала. Не знаю во что. Но попала.

- Спокойной ночи, Ледовский.

- Выходов два, - сказал он вдруг.

- Что?

- В подъезде два выхода. Основной и через подвал. Подвал не заперт. Утром скажу управляющей.

- Ты всегда считаешь выходы?
- Да.
- Зачем?
Он подумал.
- Чтобы знать, как уйти.
- А ты собираешься уходить?
- Нет, - сказал он и завернулся в мамин плед.
Я закрыла дверь и впервые за двое суток уснула. Сразу. Как в воду.

ГЛАВА 2. ВЫХОДОВ ТРИ

Паша

Обстановка. Подъезд: два выхода, подвал не заперт. Квартира: третий этаж, окна во двор, пожарной лестницы нет. Объект курит на кухне в форточку. Объект не спит.

Я проснулся в шесть. Значит, спал два часа. Хватает.

Плед пах морем. Не так, как пахнет море на открытках. Так, как оно пахнет на самом деле, в северном посёлке, где ветер с воды приносит рыбу, мазут, мокрое дерево и соль. Я знаю этот запах. Я не хотел его знать. В углу пледа синими нитками была вышита рыба. Неровно. Вышивала женщина, которая шьёт быстро и не любит переделывать.

Я сложил плед вчетверо, потом ещё раз, и положил на коврик у её двери.

Отец дал мне фотографию в субботу вечером, на Волге, у костра, под рябиной. Я на неё посмотрел один раз. Больше не надо было. Серое пальто, короткие тёмные волосы, сигарета, пятно на рукаве. Я не видел её полтора года, с того январского утра на сорок девятом этаже. И семнадцать лет до этого.

Отец сказал: "Северный порт, ты не знаешь".

Я знаю.

* * *

Мне было тринадцать. Это был август. Мама умерла восемь лет назад, Серёжа учился в Лондоне, Олег был на каких-то сборах, Свете было девять, её оставили с няней. Отец взял меня с собой, потому что больше было некуда, и потому что ему сказали, что мальчику нужен воздух.

Воздух там был. Его было очень много, белого, холодного, с солью. Я никогда раньше не видел такого неба. Оно было везде, даже под ногами, потому что вода отражала его целиком.

Был праздник. Оркестр, губернатор, флаги, красная лента на причале. Люди пришли семьями, с детьми, с бабушками, с собаками. Новый причал, новый порт, новая работа на тридцать лет. Рабочие стояли в оранжевых жилетах рядом со своими жёнами. Кто-то продавал пирожки с треской. Мне дали один. Он был горячий. Я его не доел.

Дальше я помню кусками. Как будто кто-то вырезал из киноплёнки середину и склеил края.

Вагончик. Синий, строительный, с решёткой на окне. Я зашёл за него, потому что за вагончиком был обрыв и с обрыва было видно, как под причалом ходит вода. Окно было на уровне моего лица. Внутри горел свет.

Голос на причале. Кто-то кричал, хрипло, срываясь: "Уберите людей! Уберите людей с причала! Вы что, не понимаете?" Я видел его. Высокий, в синей куртке, без шапки, седой ёжик. Его держали за руки двое в чёрном.

Скрип. Длинный, низкий, как будто кто-то очень большой застонал под водой.

Тишина. Потом крик. Потом очень много крика.

Это всё. Больше я об этом не думаю. Я научился. Это как с болью: можно смотреть на неё, а можно смотреть рядом с ней. Я смотрю рядом.

Вечером я разговаривал с одним человеком в милицейской форме, в маленьком кабинете с портретом на стене. Ночью ко мне в гостиницу пришёл отец. Утром мы улетели. Меня посадили в машину раньше всех, и я смотрел через стекло, как на берег, где лежали брезентовые свёртки, бежит девушка в сером пальто, и как её держат, и как она вырывается и кричит что-то, что не было слышно через стекло.

Ей было лет девятнадцать. Короткие тёмные волосы. Она кусала руку тому, кто её держал.

Через пятнадцать лет она вошла в зал на сорок девятом этаже и показала удостоверение.

Я её узнал. Я тогда даже немного выпрямился. Серёжа потом спросил, что со мной. Я сказал, что ничего.

* * *

В семь сорок она вышла из квартиры. Остановилась на пороге. Посмотрела на плед на коврике. Посмотрела на меня. Лицо у неё было серое, с полосой от подушки на щеке.

- Ты всё ещё здесь, - сказала она.

- Да.

- Сколько ты спал?

- Два часа.

- Я четыре, - сказала она с некоторым удивлением, как будто это я был виноват.

Она подняла плед, бросила его в квартиру, не глядя, и заперла дверь. Пристав сказал ей что-то изнутри, громко и с упрёком. Она сказала ему "сам такой".

Я пошёл впереди. Она хотела возразить. Не стала.

Внизу, у подъезда, она достала сигарету и зажигалку. Старую латунную, с якорем. Я видел, как у неё дрогнули пальцы на колёсике. Пламя появилось с третьего раза. Она прикурила, сделала затяжку и посмотрела на меня через дым.

- Машину мою забрали на экспертизу, - сказала она. - Я езжу на метро. Ты тоже поедешь на метро?

- Нет.

- Я так и думала.

- Я поеду на машине. Ты тоже.

- Я не сяду к тебе в машину.

- Хорошо, - сказал я.

Она поехала на метро. Я поехал на машине. Я был у входа в Следственное управление на шесть минут раньше неё. Она вышла из метро "Бауманская", увидела меня, остановилась и некоторое время смотрела. Потом сказала что-то короткое. По губам: "Скотина". Я не обиделся. Это было по существу.

Технический переулок, два. Здание старое, кирпичное, к нему пристроен новый корпус. Я обошёл квартал, пока она работала. Выходов из здания три: главный, служебный во двор и через пристройку, где столовая, на соседнюю улицу. Камеры на главном и на служебном. На пристройке камеры нет. Через дорогу кофейня, витрина на всю стену, хороший обзор на главный вход. Напротив служебного выезда стоянка, четыре машины без водителей, одна с водителем, серая "Октавия", московские номера, водитель курит и смотрит в телефон.

Я записал номер. Позвонил Грише. Гриша перезвонил через сорок минут: машина такси, водитель ждёт заказ, всё чисто.

В двенадцать я сел в кофейню у витрины. Взял воду.

Мне позвонил Серёжа. Я взял.

- Ты где? - спросил брат.

- В Москве.

- Отец сказал, что отправил тебя к Громовой. - Пауза. Серёжа не умеет делать паузы, у него не хватает терпения. Он научился за последний год, с тех пор как у него родилась Таня. Но всё равно выходит слишком громко. - Паш. Это серьёзно? Её вчера чуть не убили. Это не наше дело. Если отец что-то знает, пусть идёт в полицию. Ты зачем туда полез?

- Мне поручено.

- Кем? Он умирает. Он теперь всё время что-то поручает. Вчера он поручил Олегу научить Тима играть в шахматы. Олег не умеет играть в шахматы.

- Я знаю.

- Паш.

- Да.

- Ты мне скажешь, в чём дело?

Я посмотрел на вход. Из двери вышли двое в форме, закурили, разошлись.

- Нет, - сказал я.

Серёжа помолчал. Потом сказал: "Ладно". Он всегда так говорит. Он не обижается. Он знает, что у меня бывает "нет", и что это не про него.

- Береги себя, - сказал он. Раньше он так не говорил. Это тоже с Тани.

- Принял.

Потом пришло голосовое от Олега. Голосовые теперь шлёт вся семья, это Олег всех научил. Две минуты сорок секунд. Олег рассказывал, что Соня видела Громову по телевизору в восемнадцатом году, что она тогда сказала, что у этой женщины лицо человека, который не спал с детского сада, и что если я её охраняю, то должен знать: у неё наверняка нет еды в холодильнике, у таких никогда нет. В конце Олег сказал: "Паш. Если что, звони. Я всегда беру трубку".

Он правда всегда берёт.

Потом пришло голосовое от Наташи, с Олегова телефона. Девять секунд. "Паша. Это Наташа. Ты когда умрёшь? Викторыч говорит, не скоро. Ладно. Отбой".

Я прослушал его три раза.

Потом я открыл сообщение, которое пришло в субботу вечером, через час после того, как отец ушёл от костра. С незнакомого номера. Фотография, без текста. Светло-серая папка на белом мраморном полу, завязки, на папке красивым ровным почерком три буквы. Мои.

Номер Гриша пробил ещё в воскресенье утром, пока я сидел на лестнице. Сим-карта оформлена на женщину, которая умерла в две тысячи девятнадцатом году. Последний раз включалась в Мордовии, в районе посёлка, где находится женская колония общего режима.

Я знаю, кто сидит в этой колонии. Восемь лет. Мои братья знают её с детства. Я знаю её с тех пор, как она в девятнадцать лет сказала мне на лестнице, что я похож на собаку, которую забыли отвязать.

Я не ответил. Я закрыл сообщение и смотрел на вход.

Карина Вишневская никогда ничего не делает просто так. Если она прислала мне фотографию папки, значит, папка у неё есть. Если папка у неё есть, значит, она знает, что в ней. А в ней может быть только одно. Потому что во всей моей жизни есть только одна вещь, которую стоит класть в папку.

Семнадцать лет, подумал я. Ну и что. Я смотрю рядом.

* * *

Она вышла в восемь двадцать вечера. Одна. С сумкой через плечо и пакетом документов под мышкой. Очень маленькая на фоне этого кирпичного здания. Остановилась, закурила. Посмотрела по сторонам и сразу нашла меня в витрине кофейни. Ничего не изобразила лицом. Пошла к переходу.

Я вышел.

Переход там нерегулируемый. Технический переулок узкий, машины ездят медленно, кроме тех, кто срезает с Бауманской. Она шла не торопясь, прижимая папку, и смотрела в телефон. Я был в восьми метрах сзади. Слишком далеко. Я это понял, ещё когда выходил. Надо было ближе. Она не любит, когда близко. Я решил, что восемь метров - это компромисс.

Это была ошибка.

Звук был правильный, раньше картинки. Двигатель на высоких оборотах, слишком высоких для переулка. Чёрный седан, без номеров спереди, с выключенными фарами, вышел из-за припаркованной "Газели" справа и пошёл на переход. Не тормозя. Набирая.

Она подняла голову. Я видел, как она подняла голову. Она увидела. Она не побежала. Люди почти никогда не бегут. Они замирают. Это у нас от животных, которые надеются, что их не заметят.

Восемь метров.

Я не помню, как пробежал их. Помню только её локоть у себя в ладони, очень тонкий. Я рванул назад, на себя, развернулся спиной к машине и упал вместе с ней на капот припаркованной "Газели", накрывая. Что-то ударило меня по ноге, вскользь. Ветер прошёл по спине. Визг резины. Двигатель ушёл в сторону Бауманской. Номера сзади не было тоже.

Тишина.

Где-то посыпалось стекло: седан снёс зеркало у "Газели". Кто-то закричал в окно второго этажа. Папка лежала на асфальте, листы разлетелись по переходу, ветер гнал их к бордюру.

Она лежала подо мной, на капоте, и не двигалась.

- Ирина Фёдоровна, - сказал я.

Она не ответила. Я приподнялся на руках. Посмотрел. Глаза открыты. Дышит. Зрачки нормальные. На лбу ссадина, свежая, у брови. Губа прикушена. Руки целы, она вцепилась мне в куртку двумя кулаками и держала.

- Ирина.

Она моргнула. Потом её лицо изменилось. Оно стало очень злым. Я раньше никогда не видел, чтобы лицо становилось таким злым так быстро.

- Слезь с меня, - сказала она.

Я слез. Протянул руку. Она её не взяла. Сползла с капота сама, ноги у неё подогнулись, она схватилась за зеркало "Газели", и оно отвалилось у неё в руке. Она посмотрела на зеркало. Бросила его на асфальт.

- Я тебе сказала, - проговорила она. Голос дрожал, и она злилась на голос. - Я тебе вчера сказала. Не смей меня спасать. Ты слышал? Не смей. Ты что, глухой? Тебе твой отец что сказал? Охранять? Ты не охранял, ты... ты на меня упал, ты меня чуть не...

Она замолчала, потому что воздуха не хватило.

Я пошёл собирать листы.

Их было сорок семь. Я считал. Я собрал все, кроме одного, который улетел под колесо "Газели". Достал его. Это был протокол допроса. Пожелтевшая ксерокопия. Две тысячи десятый год. Свидетель Ахметова Гульнара, жена сварщика. Я не читал. Я видел только шапку. Не надо было читать.

Я сложил листы ровно, обстучал о колено, подал ей. Она смотрела на меня. Губа у неё кровила.

- Ты прочитал? - спросила она.

- Нет.

- Почему?

- Я сказал, что не буду.

Она взяла папку. Прижала к груди. Посмотрела на переход. На чёрные полосы резины на асфальте. На место, где стояла. Дальше, чем я думал. Если бы я был на пятнадцать сантиметров дальше, я бы не дотянулся. Она, кажется, посчитала то же самое. Я видел, как она считает. У неё хорошо получается.

Её начало трясти.

Это начинается снизу. Сначала колени. Потом руки. Потом зубы. Тело всегда понимает позже головы. Она стояла посреди Технического переулка, в сером пальто, с папкой, и тряслась, и пыталась достать сигарету из пачки, и пачка выскальзывала из пальцев.

Я забрал у неё пачку. Достал одну сигарету. Вложил ей в пальцы. Она смотрела на меня, не понимая. Я достал из её кармана зажигалку. Чиркнул. С первого раза.

Она прикурила. Затянулась. Закашлялась. Затянулась ещё раз.

Пачку я убрал себе в карман.

- Отдай, - сказала она.

- Одну, - сказал я. - Потом ещё одну. Через час.

- Ты... ты охренел?

- Да.

Она посмотрела на меня. Долго. Сигарета у неё в пальцах дрожала, и пепел падал на пальто. Потом она засмеялась. Как вчера, хрипло, нехорошо, сквозь зубы, и у неё по щеке поползла слеза, одна, и она её не вытерла, потому что не заметила.

- Отдай мою зажигалку, - сказала она. - Это отцовская.

Я отдал. Сразу. Она удивилась.

- А сигареты?

- Нет.

- Почему зажигалку отдал, а сигареты нет?

- Зажигалка отцовская, - сказал я.

Она смотрела на меня долго. Где-то вдалеке завыла сирена. Кто-то из окна второго этажа уже вызвал. Наряд будет через шесть минут, если ехать с Бауманской. Через девять, если с Лефортова.

- Кто ты такой, Ледовский? - спросила она тихо.

Я не знал, что ответить. У меня на этот вопрос нет короткого ответа. А длинные я не говорю.

- Начальник службы безопасности, - сказал я.

- Это не ответ.

- Других нет.

Она докурила до фильтра. Посмотрела на фильтр. Посмотрела на мой карман, где лежала пачка.

- У меня завтра планёрка в девять, - сказала она. - Потом совещание у начальника. Потом допрос в два. Ты собираешься всё это время сидеть в кофейне?

- Да.

- Тебя там уже запомнили.

- Да. Девушка за стойкой спросила, не жду ли я кого-нибудь.

- И что ты сказал?

- Сказал: да.

Она закрыла глаза. Открыла. Подъехала машина с мигалкой, вышли двое, пошли к нам. Она достала удостоверение раньше, чем они успели спросить.

Пока она разговаривала с полицией, я стоял в двух шагах. Я считал окна. Двадцать четыре окна на этой стороне переулка. В трёх горел свет. В одном стоял человек и снимал на телефон. Я запомнил окно.

Когда полиция уехала, было уже темно. Она стояла у бордюра, держала папку и смотрела на меня.

- Ладно, - сказала она.

- Ладно что?

- Завтра в восемь утра. У меня. Поговорим. По-взрослому. Условия, правила, все дела. Я не говорю "да". Я говорю, что поговорим.

- Принял.

- И ты не будешь спать на лестнице. У меня соседка с пятого этажа уже спрашивала, не мой ли это муж. Я сказала, что это охранник, который сломался.

- Где мне спать?

- В машине. Как все нормальные люди.

- В машине не видно двери.

- Ты... - начала она и замолчала. Потом махнула рукой, как машут на что-то, что невозможно исправить, и пошла к метро.

Я пошёл следом. В двух метрах. Она дважды оглянулась. Ничего не сказала.

В метро она ехала стоя, держась за поручень, прислонившись лбом к руке. Я стоял у соседней двери. На "Авиамоторной" ввалилась компания студентов, громкая, с пивом. Один из них, длинный, в кепке, толкнул её плечом и не извинился. Я посмотрел на него. Он извинился.

Она видела. Она ничего не сказала. Только когда мы вышли, на эскалаторе, она стояла на ступеньку выше, и её голова была на уровне моей, и она сказала, не поворачиваясь:

- Ты всегда так смотришь?

- Как?

- Как будто у тебя в кармане протокол о задержании.

- У меня в кармане твои сигареты.

Она фыркнула. Это был не смех. Но рядом.

У подъезда она остановилась. Посмотрела на моё лицо. Потом ниже, на штанину. Джинсы на левом бедре были разорваны, и под ними кровь. Я не заметил. Седан зацепил.

- Ты ранен, - сказала она.

- Нет.

- Ты ранен, Ледовский. У тебя кровь.

- Царапина.

Она смотрела на кровь. Лицо у неё снова стало злым. Я начинал понимать, что злость у неё - это то место, куда она складывает всё остальное. Как я смотрю рядом с болью. Она злится рядом.

- Заходи, - сказала она.

- Ты сказала, в квартиру я не войду.

- Я передумала. У меня есть аптечка. Это не забота. Это...

- Санитарные нормы, - сказал я.

Она посмотрела на меня. Что-то дрогнуло у неё в углу рта.

- Не умничай, - сказала она. - Ноги вытри.

Квартира была маленькая. Прихожая, кухня, комната. Выходов три: дверь, окно на кухне, окно в комнате. Третий этаж. Окна не годятся. Значит, выход один. Я это запомнил.

В комнате на полу лежали бумаги. Много, ровными стопками, коробки с номерами вдоль стены. Семнадцать коробок. Я не стал смотреть на шапки. Я смотрел на кота.

Пристав вышел из кухни. Увидел меня. Остановился. Потом подошёл и сел на мой ботинок.

- Предатель, - сказала Громова из ванной, гремя аптечкой.

Она обработала мне ногу перекисью, молча, очень ловко, как человек, который много раз обрабатывал чужие раны и не любит, когда при этом разговаривают. Пальцы у неё были холодные. Она наклеила пластырь, большой, крест-накрест. Посмотрела.

- Шрамов у тебя много, - сказала она. Это была не ласка. Это было наблюдение.

- Да.

- Откуда?

- Работа.

- Какая?

Я посмотрел на неё. Она смотрела снизу, сидя на корточках, с перекисью в руке. Лоб в ссадине. Губа прикушена. Глаза светлые, жёлтые, как чай в стакане, если на него падает свет.

- Прежняя, - сказал я.

- Ну и? - спросила она.

Я ничего не ответил.

Она кивнула, как будто записала. Встала. Убрала аптечку.

- Ладно, - сказала она. - Иди. Спи в машине. Завтра в восемь.

Я пошёл к двери.

- Ледовский.

Я остановился.

- Спасибо, - сказала она. Очень тихо. Не глядя на меня. Глядя на кота. - За зажигалку.

Я кивнул и вышел.

Ночью я спал в машине, под окнами, на заднем сиденье, сидя. Дверь подъезда было видно. Её окно было видно. Свет на кухне горел до трёх. Потом погас.

В три ноль две пришло сообщение. С её номера. Я его не давал. Значит, она нашла его сама.

"Сигареты верни".

Я ответил: "Одна в час. Утром".

Через минуту: "Скотина".

Потом, ещё через минуту: "Ногу не мочи".

Я положил телефон на колено и смотрел на тёмное окно. До утра.

ГЛАВА 3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Ирина

Из протокола осмотра места происшествия, 20 августа 2010 года: "Сваи причала № 3 в количестве 46 штук... на момент осмотра 31 свая разрушена, 15 находятся под водой и осмотру не подлежат".

В восемь ноль-ноль он постучал. Два раза. Не позвонил, постучал. Как будто кнопку звонка он уже израсходовал.

Я открыла и сказала:

- Садись. Там. Нет, не там, там Пристав. Вон на табуретку.

Он сел на табуретку. Табуретка у меня старая, ещё хозяйская, и под ним она тихо застонала, как живая. Пристав спрыгнул с подоконника и устроился у него в ногах. Я поставила перед ним чашку с водой. Он кивнул. Я поставила перед собой кофе. Он посмотрел на кофе.

- Это тоже нельзя? - спросила я.

- Можно.

- Спасибо, господин начальник.

Я достала из ящика лист бумаги в клетку и ручку. Положила перед собой. Я всегда так делаю на допросах, даже если ничего не записываю. Это дисциплинирует. Меня, а не допрашиваемого.

- Значит, так, - сказала я. - Давай сначала, по порядку. Ты мне не нужен. Я тебе это уже говорила. Но вчера какой-то урод попытался размазать меня по переходу у моей же работы, а в субботу какой-то другой урод, или тот же самый, стрелял мне в голову. Получается, что кто-то очень не хочет, чтобы я довезла одну бумажку до Генпрокуратуры. А те, кто должен меня охранять по закону, сначала будут три недели решать, кто из них должен, а потом пришлют сержанта на "Ладе", который будет стоять под окнами и спать. Так?

- Так.

- Мне это не нравится.

- Мне тоже.

- Тебя никто не спрашивает. - Я отпила кофе. Он был горький и холодный. Я его так и не допила с вечера, просто подогрела. - Поэтому. Если ты всё равно собираешься сидеть у меня на лестнице, то лучше, чтобы мы с тобой договорились о правилах. Это не значит, что я согласна. Это значит, что я не могу тебя прогнать, а значит, я тебя регламентирую.

- Регламентируй.

Он сказал это без улыбки. Совсем. Мне показалось, что где-то у него внутри что-то улыбнулось, но наружу ничего не вышло. Как бывает у людей, которые долго жили в местах, где улыбаться вредно для здоровья.

Я написала цифру "1" и обвела её кружком.

- Первое. Ты не задаёшь мне вопросов по делу. Никаких. Ни про бумаги, ни про людей, ни про то, куда я еду и зачем.

- Принял.

- Второе. Ты не трогаешь мои бумаги. Не смотришь, не читаешь, не собираешь с асфальта.

- Вчера собирал.

- Вчера не считается, вчера был форс-мажор. Дальше не собираешь.

- Если ветер?

- Пусть уносит.

Он подумал.

- Нет, - сказал он.

Я посмотрела на него. Он смотрел на меня. Глаза у него были такие светлые, что казались пустыми, но они не были пустыми. Я это уже знала. В них просто ничего не отражалось, что он не хотел, чтобы отражалось.

- Ладно, - сказала я. - Если ветер, собираешь. Не читая.

- Принял.

- Третье. Ты не говоришь своему отцу ни слова о том, что видишь. Ни слова. Где я была, с кем говорила, что ела на обед. Если я узнаю, что ты ему докладываешь...

- Не узнаешь.

- Это значит, что ты не докладываешь, или что я не узнаю?

Он помолчал.

- Не докладываю, - сказал он. - Он не спрашивал. Он сказал только "охраняй". Больше ничего.

Это меня почему-то задело. Я записала. Четвёртое.

- Четвёртое. Ты не трогаешь мои сигареты.

- Нет.

- Что значит "нет"?

- Одна в час, - сказал он. - Ты куришь сорок в день. Ты не спишь, ты пьёшь кофе натощак, у тебя дрожат руки. Ты медленнее реагируешь. Вчера ты увидела машину за две секунды до удара. Если бы ты не курила, увидела бы за три. Это пятнадцать сантиметров.

Я открыла рот. Закрыла.

- Ты посчитал?

- Да.

- Пятнадцать сантиметров.

- Да.

Я смотрела на него и чувствовала, что у меня начинает дёргаться глаз. Это со мной бывает, когда допрашиваемый вдруг выдаёт что-то такое, к чему я не готова. Последний раз это было с одним бухгалтером, который признался в хищении на сорок миллионов, потому что ему надоело, что я так плохо расставляю запятые в протоколе.

- Двадцать в день, - сказала я.

- Двенадцать.

- Пятнадцать.

- Одна в час, - сказал он. - С восьми до восьми. Двенадцать. Ночью ты не куришь. Ночью ты спишь.

- Я не сплю ночью.

- Будешь.

Пристав у него в ногах глубоко и удовлетворённо вздохнул. Я посмотрела на кота. Кот посмотрел на меня. В его жёлтых глазах было написано всё, что он обо мне думает.

- Ладно, - сказала я сквозь зубы. - Двенадцать. Пока. Временно. Под протокол.

Я написала "12" и подчеркнула два раза.

- Пятое. И это главное, Ледовский. Ты меня не спасаешь. Если я не прошу. Никогда. Ты понял? Вчера ты меня спас. Мне не понравилось. Я тебе за это благодарна, но мне не понравилось. Я не люблю, когда меня спасают. Я не позволяю. У меня это в правилах с девятнадцати лет.

Он смотрел на меня очень долго. На лист бумаги. На мою руку с ручкой.

- Нет, - сказал он.

- Ледовский.

- Это не обсуждается, - сказал он. Тихо. И почему-то сразу поморщился, как будто сам себя услышал и ему не понравилось.

- Что? - спросила я.

- Ничего. Это отцовское. - Он помолчал. - Нет. Если машина, я тебя дёргаю. Если выстрел, я тебя кладу. Если пожар, выношу. Ты можешь потом злиться. Можешь кричать. Можешь писать на меня рапорт. Но я тебя дёргаю.

- Почему? - спросила я.

Я не собиралась это спрашивать. Это был вопрос не по делу. Это был, если по-честному, не вопрос следователя, а вопрос женщины, которой тридцать шесть лет и которую никто никогда не дёргал из-под машины. Я сразу пожалела.

Он посмотрел в окно. Во двор, на качели.

- Потому что мне поручено, - сказал он.

Неправда, подумала я. Двенадцать лет на допросах. Это было не то. Но я не стала давить. Я записала: "5. Спасает. Не обсуждается". И посмотрела на эту строчку.

- Шестое, - сказала я. - Ты молчишь.

И вот тут, клянусь, у него в лице что-то случилось. Совсем мало, на долю секунды. Угол рта поехал куда-то в сторону.

- Это я умею, - сказал он.

- Я заметила.

- А мои условия?

- А у тебя есть условия?

- Три.

Я развернула к нему лист. Протянула ручку. Он взял её, посмотрел, как будто взвешивая, и написал внизу, под моими пунктами, очень мелким, ровным, почти печатным почерком. Я смотрела, как он пишет. Он писал медленно. Как пишут люди, которые не любят писать, потому что всё, что написано, остаётся.

"1. Двери мои. 2. Выходы мои. 3. Где ты ночуешь - моё".

- Это всё? - спросила я.

- Да.

- Ты не напишешь "не курить", "спать по восемь часов" и "есть овощи"?

- Это я тебе скажу. Не напишу.

Я посмотрела на лист. Девять пунктов. Шесть моих, три его. Я подумала, что это первый документ в моей жизни, который я составила с Ледовским. И что, если бы мне семнадцать лет назад, на том берегу, сказали, что так будет, я бы этому человеку выцарапала глаза.

Я сложила лист пополам и сунула в карман пальто.

- Насчёт третьего, - сказала я. - Я не перееду ни в какую квартиру твоего холдинга. Ни в какую гостиницу. Ни на какую дачу. Понятно?

- Понятно. Здесь нельзя.

- Почему?

- Один выход. Третий этаж. Напротив дом, двенадцать окон на твою кухню. Подвал открыт. Управляющая сказала, что закроет в четверг. Она это говорит четыре года.

- Откуда ты знаешь, что она говорит это четыре года?

- Она сама сказала.

- Ты разговаривал с моей управляющей?

- Она разговаривала. Я слушал.

Я вдруг представила себе Лидию Петровну с пятого этажа, сухую, с химией и голосом пилы, которая гоняет всех подростков со двора, и как она сорок минут рассказывает этому шкафу о подвале, о трубах, о мэрии и о том, как всё было при Лужкове. А он стоит и слушает.

- Ладно, - сказала я. - Я подумаю.

* * *

На планёрке Сомов смотрел на мой лоб.

Геннадий Павлович Сомов, полковник юстиции, мой начальник, пятьдесят восемь лет, лицо как у бульдога, который знает, где лежат все кости района. Он единственный человек в управлении, которого я уважаю. Он меня не любит, и это у нас взаимно, но он ни разу за двенадцать лет не забрал у меня дело, которое я вела. Даже когда звонили сверху.

Он дождался, пока все выйдут. Потом закрыл дверь.

- Ну? - сказал он.

- Что "ну"?

- Громова. Во вторник в тебя стреляют, в понедельник тебя давят машиной. Что будет в среду, бомба в почтовом ящике? Сядь.

Я села.

- Во вторник ничего не было, - сказала я. - Стреляли в субботу.

- Не умничай. Я тебе оформляю госзащиту. Уже подписал.

- Не надо.

- Это не просьба.

- Геннадий Павлович. Вы прекрасно знаете, что такое госзащита. Ко мне приставят двух парней из управления по защите, которые будут возить меня на работу и обратно на служебной машине, о которой будет знать полгорода, и докладывать обо всех моих передвижениях в журнал, который читает полгорода. Вы знаете, кто знал, что я в субботу в семь утра поеду в Генпрокуратуру?

Сомов молчал.

- Я вам скажу, - сказала я. - Вы. Ваня. Глазов. И дежурная часть, потому что я брала машину. Четыре человека. Если бы я туда ехала на троллейбусе, я бы сейчас не сидела перед вами со ссадиной. Я бы сидела на кладбище. Так что нет, госзащиты не надо. Спасибо.

Он посмотрел на меня тяжело и долго. Потом достал из ящика стола две карамельки, одну положил себе в рот, вторую протянул мне. Я взяла. Это у него вместо пепельницы. Он бросил курить в тридцать лет и с тех пор ест карамель, как другие пьют.

- Глазов? - спросил он тихо.

- Я никого не называла.

- Ты назвала четырёх. Меня можешь вычеркнуть, я тебя двенадцать лет терплю, если бы я хотел тебя убить, давно бы убил. Ваню можешь вычеркнуть, он кроме пиццы ничего не продаёт. Остаются дежурная часть и мой заместитель.

- Я никого не называла, Геннадий Павлович.

- Понятно, - сказал он и захрустел карамелью. - А это кто?

Он развернул ко мне монитор. На мониторе была фотография с камеры наружного наблюдения, со входа в наше здание. Кофейня через дорогу. Витрина. За витриной, у самого стекла, сидел очень большой человек с бутылкой воды и смотрел прямо в камеру. Как будто знал, где она висит. Он, конечно, знал.

- Павел Викторович Ледовский, - сказал Сомов. - Начальник службы безопасности "Ледовский групп". Тридцать лет. Служил. Где служил, в базах не пишут, а когда не пишут, это значит, что лучше не спрашивать. Сын Виктора Андреевича Ледовского, который у тебя в деле проходит как...

- Никак не проходит. Сроки давности.

- Как фигурант. - Он посмотрел на меня поверх очков. - Он сидел здесь с одиннадцати утра до восьми вечера. Вчера. А сегодня с половины девятого. Девушка в кофейне спросила у охраны на входе, кто это и не надо ли вызвать полицию. Охрана спросила у дежурного. Дежурный спросил у меня. Громова. Он тебя пасёт?

- Он меня охраняет.

Сомов перестал жевать.

- Кто?

- Он.

- Сын Ледовского.

- Да.

- Охраняет тебя.

- Да.

- От кого?

- От тех, кто стреляет.

- А кто стреляет?

- Он не знает.

Сомов смотрел на меня так, как, наверное, смотрел бы на кошку, которая села за пианино и заиграла. Потом он сказал что-то такое, что я не буду здесь приводить, потому что у него лексикон человека, который тридцать лет проработал на земле. Потом он сказал:

- Громова. У тебя в деле его отец. У него в руках твоя жизнь. Ты понимаешь, что это не конфликт интересов? Это бразильский сериал. Это хуже. Это даже не бразильский, это турецкий.

- Я понимаю.

- И?

- И он вчера вытащил меня из-под машины. На пятнадцать сантиметров. Он посчитал.

Сомов молчал. Потом он взял вторую карамельку и положил обратно в ящик. Это был плохой знак. Это значило, что он думает.

- Он не наш, - сказал он наконец, медленно. - Не из системы. Через него не сольют. Если он не сольёт сам.

- Да.

- А если сольёт?

- Тогда я буду знать, кто стрелял. Тоже результат.

Сомов посмотрел на меня поверх очков. Очень долго.

- Ты страшная женщина, Громова, - сказал он. - Тебя бы замуж. Давно.

- Была.

- Помню. Антон Сергеевич до сих пор, когда видит тебя на совещаниях, выходит покурить. А он не курит. - Он снова развернул монитор к себе. - Ладно. Госзащиту я тогда подпишу, но положу в стол. Если что-то случится, я скажу, что ты отказалась письменно. Напиши отказ.

- Напишу.

- И держи меня в курсе. Только меня. Лично. Не через секретаря, не через заместителя. Звонишь мне на мобильный.

- Да.

Он махнул рукой. Я встала. У двери он сказал мне в спину:

- Ирина.

Он никогда не называл меня по имени. Я обернулась.

- Бумажку, которую ты в субботу не довезла, - сказал он. - Ты её довези. Только не сама. С Ваней. И с этим, из кофейни. Пусть он постоит за спиной. Раз уж он такой большой.

* * *

Ваня Кудрин встретил меня у моего кабинета с пончиком в одной руке и планшетом в другой. Ваня всегда что-нибудь ест. Он говорит, что у него быстрый метаболизм. Я подозреваю, что у него просто стресс с первого курса академии, и что мы этот стресс ему и обеспечиваем.

- Ирин Фёдоровна, - сказал он с набитым ртом, - вы не поверите.

- Поверю. Давай.

- Запись с камеры на Большой Дмитровке. Я посмотрел логи облачного сервиса, куда она пишется. Её скачали в девять пятьдесят восемь. За семь минут до изъятия. С айпишника одной охранной компании, которая обслуживает... - Он заглянул в планшет. - Ну, вы поняли.

- Поняла.

- Вы не удивлены.

- Он мне сказал.

Ваня перестал жевать.

- Кто вам сказал?

- Тот, кто скачал.

- Он вам... сам сказал?

- Да. В воскресенье. У меня на лестнице. Ваня, у тебя что-нибудь ещё?

Ваня смотрел на меня круглыми глазами. Потом медленно доел пончик. Потом сказал:

- Чёрный седан нашли сегодня ночью в Люберцах. Сгоревший. В гаражах. Номеров нет, VIN спилен. Но я попросил ребят посмотреть мотор. Это займёт неделю.

- Хорошо.

- И ещё. - Он понизил голос. - Глазов вчера спрашивал, во сколько вы обычно уходите. Я сказал, что не знаю, что вы иногда вообще не уходите. Он посмеялся.

Я посмотрела на Ваню.

- Ваня, - сказала я. - Спасибо.

- Да не за что. - Он покраснел. Ваня краснеет, как девочка, от шеи до ушей. - Ирин Фёдоровна. А тот, который из кофейни... Это правда Ледовский?

- Правда.

- А он вам... - Ваня замялся. - Ну. Он нормальный?

Я подумала.

- Он молчит, - сказала я. - Весь день. И считает выходы.

- Это нормально или ненормально?

- Не знаю, Ваня. Пока не знаю.

* * *

Вечером, без десяти восемь, я вышла из здания. Он уже стоял на тротуаре. Не в кофейне. Рядом с дверью, у стены, так, чтобы видеть оба конца переулка.

- Ты сегодня где был? - спросила я.

- В кофейне. Потом здесь.

- Девушка в кофейне вызывала на тебя охрану.

- Да. Охранник подошёл. Спросил, кого я жду.

- И?

- Я сказал, что жду майора Громову. Он сказал: "А, ну тогда понятно" - и ушёл.

Я посмотрела на него. Иногда мне казалось, что он шутит. Но лицо у него было как у памятника, и проверить это было невозможно.

- Твоё третье условие, - сказала я. - Где я ночую.

- Да.

- У меня есть вариант. Не твой. Мой.

- Слушаю.

- У Вани, моего напарника, бабушка. Живёт в Измайлове. Сейчас она на даче до сентября, в Тверской области, огурцы, внуки, всё такое. Квартира пустая. Ваня поливает цветы. Ключи у Вани. Про эту квартиру не знает никто, кроме Вани. Даже я не знала до сегодняшнего дня. Устраивает?

Он подумал.

- Этаж?

- Второй.

- Выходы?

- Подъезд, окно. И, кажется, балкон.

- Посмотрю.

- Посмотри, - сказала я. - И имей в виду. Там двухкомнатная. Ты спишь в одной. Я в другой. Пристав спит где хочет.

- Принял.

- И ты не входишь в мою комнату. Никогда.

Он кивнул.

- И ещё. - Я достала из кармана лист с пунктами, развернула. Посмотрела на него. - Сколько у меня сегодня было сигарет?

- Двенадцать.

- Ты считал?

- Да.

- Как? Ты сидел в кофейне.

- Ты курила в окно туалета на втором этаже. Через решётку видно дым.

Я молчала.

- Тринадцатую ты выкурила в восемь двенадцать, - добавил он. - На лестнице, перед выходом. Это сверх нормы.

Я сложила лист обратно и сунула в карман.

- Господи, - сказала я. - Ты кошмар.

- Да.

- Ты знаешь, что ты кошмар?

- Мне говорили.

Мы пошли к метро. Он на шаг сзади и чуть слева. Я поняла, что он держит меня между собой и дорогой. Я ничего не сказала.

У самого входа в метро у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомый, с кодом Мордовии. Я остановилась. Он тоже остановился, и я почувствовала, как он стал очень внимательным, весь, сразу, хотя снаружи ничего не изменилось.

- Громова, - сказала я.

- Ирина Фёдоровна? - сказал женский голос. Деловой, усталый. - Добрый вечер. Это адвокат Зотова, Лидия Михайловна. Я представляю интересы осуждённой Вишневской Карины Эдуардовны. Моя доверительница просила передать, что располагает сведениями по делу о порте "Северный", две тысячи десятого года. Она готова встретиться. С вами лично. Только с вами.

Я молчала. Над нами, в арке метро, гудел вентилятор. Шли люди. Рядом стоял Ледовский и смотрел на меня.

- Почему со мной? - спросила я.

- Она сказала, что вы её единственный следователь, который ни разу не повысил голос, - сказала адвокат. - И ещё она просила передать одну фразу. Дословно. Она сказала: "Передайте майору, что её охранник там был". Больше ничего. Я сама не понимаю, что это значит.

Я подняла глаза на Ледовского.

Он стоял неподвижно. Лицо у него было такое же, как всегда. Ровное, спокойное, как вода в безветрие. Только мне показалось, что он вдруг стал немного бледнее. А может, это свет в арке. Там ужасный свет.

- В четверг, - сказала я в трубку. - Нет. В среду. Через неделю, в среду. Я приеду.

Я положила телефон в карман.

- Кто это был? - спросил он.

- Пункт первый, Ледовский. Ты не задаёшь вопросов по делу.

Он помолчал.

- Принял, - сказал он.

Мы спустились в метро. Он стоял в вагоне у соседней двери и смотрел в тёмное стекло. Я смотрела на его отражение. Отражение не двигалось.

"Её охранник там был".

Где там? Карина Вишневская, восемь лет общего режима, мошенничество, подделка документов, двадцать девять листов обвинительного заключения, которое я писала три месяца. Карина, которая за весь наш допрос в январе прошлого года не сказала ни одного слова правды, но улыбалась так, будто знала про меня что-то, чего не знаю я.

Где был мой охранник?

На "Авиамоторной" он вышел первым. Проверил платформу. Обернулся. Подал мне руку на выходе из вагона, потому что там была щель между вагоном и платформой. Я не взяла.

Я начала понимать, что это у нас будет такая игра. Он подаёт. Я не беру.

Пока не беру, подумала я. И сама удивилась, откуда в голове взялось это "пока".

ГЛАВА 4. ПРИСТАВ

Паша

Обстановка. Измайлово, пятиэтажка, второй этаж. Выходов три: дверь, балкон на козырёк подъезда, кухонное окно на крышу гаража. Соседи: сверху пенсионер с собакой, снизу никто. Объект: сигарет в день - 12.

Квартира Ваниной бабушки пахла валерьянкой, пирогами и лаком для пола.

Это была хорошая квартира. Старая, честная. Ковёр на стене, сервант с хрусталём, фотографии в рамках на трюмо: свадьба, дети, внуки, Ваня в первом классе с букетом больше головы. Холодильник "ЗиЛ", который гудел, как трансформатор. На подоконниках герань в двенадцати горшках. Ваня мне показал, как их поливать, и сказал, что бабушка проверит по листьям, если я их залью. Он говорил это серьёзно. Я понял, что он прав.

Я обошёл квартиру три раза. Потом обошёл двор. Потом гаражи. Потом поднялся на крышу гаража и посмотрел в кухонное окно снаружи. С крыши гаража до окна полтора метра. Человек моего роста может. Человек её роста не может. Значит, это выход для неё, а не вход для них. Я это запомнил.

Она перевезла сюда три вещи: кота в переноске, две коробки с делом и ноутбук. Остальные пятнадцать коробок остались в Лефортове. Я спросил почему. Это был вопрос не по делу, и я его задал без голоса, одним лицом. Она поняла.

- Эти две самые главные, - сказала она. - Остальные я помню наизусть.

Пристав вышел из переноски, обошёл квартиру по периметру, как я, обнюхал герань, чихнул и лёг у меня на ботинке. Он всё время ложится на мой ботинок. Я не знаю, что в моих ботинках. Может быть, им пахнет то, что ему нравится. Может быть, в них просто тепло.

Ей досталась бабушкина спальня, с кроватью под кружевным покрывалом и иконой в углу. Мне досталась большая комната, с диваном, телевизором и сервантом. Я на диване не спал. Я поставил кресло в коридоре, между её дверью и входной, и сидел в нём.

В первую ночь она про кресло ничего не сказала. Вторую тоже. На третью вышла в три часа в футболке до колен и с сигаретой, которую я ей не давал. Я её не видел, значит, это был запас. Посмотрела на меня в кресле.

- Ты так и сидишь? - спросила она.

- Да.

- Всю ночь?

- Да.

- А спишь когда?

- Сидя.

- Это вообще возможно?

- Да.

Она посмотрела на сигарету у себя в пальцах. Посмотрела на меня. Убрала сигарету в карман футболки. Пошла на кухню, налила воды, выпила. Вернулась. Прошла мимо моего кресла к себе. У двери остановилась.

- Ледовский.

- Да.

- Ты знаешь, что ты меня пугаешь?

- Знаю.

- Ничего не хочешь с этим сделать?

Я подумал.

- Могу сидеть с закрытыми глазами, - сказал я.

Она закрыла дверь. Мне показалось, что за дверью она засмеялась. Не уверен. Звукоизоляция в пятиэтажках хорошая только в плохую сторону.

* * *

Утром я варю гречку.

Это я умею. Меня никто не учил, я сам научился, потому что там, где я был семь лет, еду готовили либо хорошо, либо никак, и лучше было уметь самому. Гречка, яйца, суп из чего найдётся, мясо на сковороде, картошка. Ничего сложного. Я не люблю сложное. В сложном больше мест, где можно ошибиться.

Она выходит из комнаты в семь двадцать. Каждый день в семь двадцать. Это значит, что она просыпается в семь и двадцать минут лежит. Я не знаю, что она делает эти двадцать минут. Может, смотрит в потолок. Может, читает. Может, плачет. Я не спрашиваю. Вопросы не по делу.

Она садится за стол. Перед ней гречка с маслом и два яйца. Кофе. Она смотрит на гречку.

- Я не ем по утрам, - говорит она.

- Ешь.

- Я тебе не солдат.

- Нет. Солдаты едят.

Она ест. Каждый день она говорит, что не ест по утрам, и каждый день ест. Это у нас такой утренний ритуал. На третий день она уже не говорит. Просто садится и ест. На четвёртый спрашивает, нет ли соли.

В восемь ноль-ноль я кладу перед ней на стол первую сигарету. Она забирает её, не глядя на меня, выходит на балкон, курит. Возвращается. Я ставлю на подоконник пепельницу. Пепельницу я купил в хозяйственном, стеклянную, с рисунком рыбы. Других не было. Она посмотрела на рыбу и ничего не сказала.

Сигареты я ношу во внутреннем кармане. Пачку. Одну в час. Я их считаю. В четверг двенадцать. В пятницу одиннадцать, потому что одну она забыла взять, у неё был допрос, она увлеклась. В субботу двенадцать. В воскресенье одиннадцать, хотя я положил двенадцать. Двенадцатую она не взяла. Я спросил, лицом. Она сказала:

- Не хочу. Это не значит, что я согласна. Это значит, что не хочу.

Я записал. У меня есть блокнот. Я в нём записываю, сколько она выкурила, сколько спала и ела ли. Я не знаю зачем. Я раньше никогда ничего не записывал. Но мне нужно, чтобы где-то было видно, что становится лучше.

Становится.

* * *

В четверг мы отвезли её бумагу в Генпрокуратуру. Втроём. Ваня за рулём служебной машины, она рядом, я сзади.

Ваня всю дорогу ел. Сначала пирожок, потом шоколадку, потом орехи из пакетика. Иногда он смотрел на меня в зеркало заднего вида. Я смотрел на улицу. На Садовом он не выдержал.

- Павел Викторович, - сказал он.

- Да.

- А можно вопрос?

- Можно.

- А вы правда служили? Ну... там?

Она повернула голову и посмотрела на Ваню. Ваня покраснел.

- Это вопрос не по делу, - сказала она.

- Я не про дело. Я так. Вообще.

- Правда, - сказал я.

- А где?

- Далеко.

Ваня подумал.

- А сколько?

- Семь лет.

- А можете показать, как отбирают пистолет? Ну, если в тебя целятся вот так, - он оторвал руку от руля и показал, - а ты вот так... раз! И всё.

- Нет, - сказал я.

- Почему?

- Потому что ты за рулём.

Ваня положил руку обратно на руль. Громова отвернулась к окну. Плечи у неё чуть-чуть вздрогнули. Один раз.

У Генпрокуратуры я вышел первым. Посмотрел на улицу. На мотоциклы. Их было три, все стояли. Посмотрел на окна. Посмотрел на людей у входа. Пятнадцать человек. Никто не смотрел на нас дольше трёх секунд. Я кивнул Ване. Ваня открыл ей дверь.

Она шла от машины до двери двенадцать шагов. Я шёл рядом, справа. Мотоциклы были справа.

Она отдала бумагу в приёмную. Девушка за стеклом поставила штамп и сказала: "Входящий номер шестьсот сорок восемь". Громова взяла копию со штампом и долго на неё смотрела. Как будто это был не штамп, а что-то большее.

- Семнадцать лет, - сказала она. Не мне. Себе.

На обратном пути она молчала. Ваня тоже. Ваня даже не ел.

* * *

В субботу пришёл Ваня с пиццей.

Он позвонил в дверь, я посмотрел в глазок, открыл. Он стоял с двумя коробками и пакетом из магазина. В пакете были пиво, лимонад, огурцы, торт и корм для кота.

- Я подумал, - сказал Ваня, - вы тут сидите, как в осаде. А сегодня суббота.

Громова посмотрела на него из кухни.

- Ваня, ты понимаешь, что приходить сюда - это нарушение режима?

- Я понимаю. Но это бабушкина квартира. Я должен проверить цветы.

Он проверил цветы. Каждый горшок. Он трогал листья, нюхал землю и говорил "так" и "ага". Потом сказал мне:

- Вы молодец. Бабушка не заметит.

Это была первая похвала за неделю, которую я получил. Мне было приятно. Я ничего не сказал.

Ваня ел пиццу, пил пиво и рассказывал. Он рассказывал всё. Про академию, про то, как он в первый год перепутал вещдоки и отправил на экспертизу пакет с бутербродом, про девушку, которая его бросила, потому что он пятый раз пропустил её день рождения из-за дежурства. Про бабушку, которая делает лучшие пироги в Измайлове и которая сказала ему, что, если он женится на следовательнице, она переедет жить к его тётке в Тверь. Громова слушала, иногда вставляла короткие едкие фразы, и Ваня от каждой краснел и смеялся.

Я сидел на табуретке у двери. Я так сижу, когда в комнате больше двух человек. Мне надо видеть дверь.

Пристав лежал у Вани на коленях. Ваня кормил его пиццей. Громова сказала, что, если кот заболеет, она Ваню посадит. Ваня сказал, что за пиццу не сажают. Она сказала, что за кота сажают. Он сказал, что такой статьи нет. Она сказала: "Будет".

В какой-то момент Ваня посмотрел на меня.

- А вы чего не едите?

- Ем.

- Вы взяли один кусок и держите его сорок минут.

Я посмотрел на кусок у себя в руке. Он был холодный. Я его съел.

- Павел Викторович, - сказал Ваня. Пиво на него действует быстро. - А можно я скажу? Вы классный.

Громова поперхнулась лимонадом.

- Ваня.

- Нет, ну правда. Вы сидите вот так, и вам не надо ничего говорить. А у меня так не получается. Мне всё время надо что-то говорить. Мне бабушка говорит: "Ванечка, помолчи хоть минуту". А я не могу. Как вы этому научились?

Я посмотрел на него. Ему было двадцать восемь лет. Мне было тридцать. Он ни разу в жизни не видел того, после чего человек перестаёт разговаривать. Я подумал, что это очень хорошо. Что пусть так и будет.

- Долго учился, - сказал я.

Громова смотрела на меня. Я почувствовал это раньше, чем увидел. Она смотрела так же, как в субботу утром, через щель двери. Как будто что-то записывала.

Ваня ушёл в одиннадцать. В прихожей он пожал мне руку двумя руками, очень серьёзно, и сказал:

- Вы её берегите. Она ведь... ну. Вы знаете.

- Знаю, - сказал я.

Я не знал. Я понял, что не знаю. Ваня знал что-то, чего не знаю я. Что-то про неё, что видно, если работать с человеком три года в соседнем кабинете. Я не спросил. Вопросы не по делу.

* * *

Ночью она кричала.

Это было в три сорок. Я сидел в кресле, с закрытыми глазами, но не спал. Сначала был звук, как будто кто-то задыхается. Потом слово. Одно и то же. Сначала тихо. Потом громче. Потом очень громко, на всю квартиру, так, что над нами залаяла собака.

- Костя! Костя! Костя!

Я встал. Подошёл к её двери. Положил руку на ручку.

Правило: ты не входишь в мою комнату. Никогда.

Я стоял с рукой на ручке. За дверью она кричала. Потом перестала кричать и начала говорить. Быстро, неразборчиво, как будто с кем-то спорила. Потом заплакала. Не так, как плачут днём. Так, как плачут дети, которые не понимают, что они спят.

Пристав вышел из большой комнаты, подошёл к её двери, сел и посмотрел на меня. Потом поднял лапу и поскрёб дверь. Два раза.

Я убрал руку с ручки. Сел на пол. Спиной к её двери. Прислонился. Дверь была тонкая, фанерная. Я слышал, как она дышит.

Я сказал - очень тихо, почти без голоса, так, чтобы не разбудить, если спит, и так, чтобы услышала, если нет:

- Я здесь.

Она замолчала. Потом всхлипнула ещё раз. Потом стало тихо.

Я сидел на полу до утра. Пристав лёг мне на колени. Он тяжёлый. Восемь килограммов. Я его не сгонял.

В семь двадцать она открыла дверь, и я чуть не упал назад, в её комнату. Успел встать. Она стояла на пороге, бледная, с опухшими глазами, в футболке до колен. Посмотрела на меня. На пол у двери. На кота.

- Ты сидел здесь, - сказала она.

- Да.

- Всю ночь?

- С трёх сорока.

- Ты слышал.

- Да.

Она смотрела на меня. У неё было такое лицо, как будто её поймали на чём-то стыдном. Как будто я видел её без одежды. Хуже.

- Ты не вошёл, - сказала она.

- Правило.

Она долго молчала.

- Кто такой Костя, ты знаешь? - спросила она.

Я знаю. Я знаю его фамилию, имя и отчество. Я знаю, что ему было семнадцать лет. Я знаю, что на нём был оранжевый жилет. Я видел его. Я не помню его лица, но я помню жилет. Он стоял у края причала, когда я вышел из-за вагончика, и смотрел на воду, и я помню, что он смеялся. Он смеялся, а потом смех кончился.

Я это не помню. Я это не думаю. Я смотрю рядом.

- Нет, - сказал я.

Это была первая ложь, которую я ей сказал. Я это запомнил. Я её тоже записал, вечером, в блокнот, под цифрами. Просто слово. "Костя". И больше ничего.

- Брат, - сказала она. - Младший. Неважно.

Она пошла на кухню. Я пошёл за ней. Я сварил гречку. Она съела всю. Я положил перед ней первую сигарету. Она не взяла.

- Не хочу, - сказала она. - Это не значит, что я согласна.

- Понял.

Она посмотрела на меня. Потом в окно. Потом снова на меня.

- Ты знаешь Карину Вишневскую? - спросила она вдруг.

Я положил ложку.

- Да.

- Хорошо знаешь?

- Она была невестой моего брата.

- Я помню. Я её арестовывала. - Она взяла чашку двумя руками. - Она тебя ненавидит?

Я подумал. Карина никого не ненавидит. Чтобы ненавидеть, нужно, чтобы тебе было не всё равно. Карине всё равно на всех, кроме себя и отца. Но я понимал, что спрашивает она не про это.

- Да, - сказал я.

- Она мне передала через адвоката, что ты "там был". Не знаю где. Она это сказала, чтобы я тебе не доверяла. Чтобы мы с тобой... чтобы я тебя выгнала. Это её стиль. Она всю жизнь стравливает людей. Она в январе стравила своего жениха с его отцом, а потом обоих с невестой. Так?

Я молчал.

- Так? - повторила она.

- Это её стиль, - сказал я.

Это была не ложь. Это была правда. Только не вся.

Она кивнула. Как будто что-то решила.

- Я к ней поеду в среду, - сказала она. - Ты поедешь со мной. До ворот. Внутрь ты не пойдёшь. И то, что она скажет, я тебе не расскажу. Пункт первый.

- Принял.

- И ещё. - Она не смотрела на меня. Она смотрела в чашку. - Ночью. Если я опять. Ну. Если опять.

- Да.

- Ты можешь сказать то, что ты сказал. Через дверь. Это не нарушение правил.

Я не знал, что она слышала. Я думал, что она спала.

- Хорошо, - сказал я.

Она встала. Пошла к балкону. У балконной двери остановилась, вернулась, взяла со стола сигарету, ту самую, первую, которую не хотела, и ушла на балкон. Закурила. Я смотрел на её спину. Она курила и смотрела на двор, на тополя, на детскую площадку, где на качелях сидела девочка лет пяти и пела что-то себе под нос.

Семнадцать лет назад, подумал я.

В среду Карина Вишневская откроет свою папку. Я не знаю, что в ней. Я знаю, что может быть в ней. В моей жизни есть только одна бумага, которую стоит прятать в папку с моими инициалами. Я написал её сам. Мне было тринадцать лет. Я писал её в маленьком кабинете с портретом на стене, под диктовку человека в милицейской форме, у которого на рукаве было пятно от чая. Я помню это пятно лучше, чем свои слова.

Я могу рассказать ей сам. Сегодня. Сейчас. Выйти на балкон и сказать.

Я думал об этом всю неделю. Каждую ночь. В кресле, с закрытыми глазами.

Она стояла на балконе. Девочка внизу пела. Пристав сидел на подоконнике и смотрел на неё через стекло.

Я не вышел.

Я помыл посуду. Вытер. Поставил на полку. Записал в блокнот: "Сигарет: 1 из 1. Ела. Спала с 23:50 до 3:40, потом с 4:15 до 7:00". Посмотрел на цифры.

Ниже было написано: "Костя".

Ниже я написал: "Среда".

И закрыл блокнот.

ГЛАВА 5. КАРИНА

Ирина

Из журнала пропусков порта "Северный", 20 августа 2010 года, запись 112: "Ледовский В. А., генеральный директор ООО "Ледовский групп". С ним сын".

Мы выехали в четыре утра.

Он сказал, что до колонии пятьсот двенадцать километров и что ехать мы будем шесть часов сорок минут, если не будет ремонта на трассе под Рязанью. Ремонт под Рязанью был. Мы ехали шесть часов пятьдесят две минуты. Он сказал об этом, когда мы остановились у ворот, ровно, без тени сожаления, как сообщают погоду.

Я спала.

Я не собиралась спать. Я не сплю в машинах, я не сплю в поездах, я не сплю в самолётах, я вообще почти не сплю, у меня это с двадцати лет. Я взяла с собой ноутбук и две папки, чтобы ещё раз пройтись по допросу Вишневской полуторагодичной давности. Я открыла ноутбук на МКАДе. На Новорязанском шоссе я закрыла ноутбук, потому что заболели глаза. Под Бронницами я подумала, что закрою их на минуту.

Проснулась я под Шацком. Солнце било в лобовое стекло. Я лежала, свернувшись на сиденье, укрытая чем-то тёмным и тёплым, что пахло бензином и чем-то ещё, сухим, вроде полыни. Его куртка. Он вёл машину в футболке, одной рукой, и смотрел на дорогу. Кондиционер был выключен, хотя было жарко. Я сначала не поняла почему. Потом поняла. Я мёрзну во сне. Я сама этого не знала, а он заметил.

- Сколько я спала? - спросила я. Голос был хриплый.

- Три часа двенадцать минут.

- Почему ты не разбудил?

- Ты спала.

Я села. Куртку не сняла. Мне было холодно, хотя за окном было двадцать шесть.

- Дай сигарету.

Он посмотрел на часы на панели. Восемь сорок одна.

- В девять, - сказал он.

- Ледовский.

- В девять.

- Я тебя ненавижу, - сказала я.

- Хорошо, - сказал он.

Я засмеялась. Опять. Это стало происходить слишком часто. Я не помню, когда в последний раз смеялась столько раз за неделю. Может быть, в академии, на первом курсе, когда ещё всё было не всерьёз. Это настораживало. Смех, как и сон, - это когда человек перестаёт держать оборону. А я держу оборону семнадцать лет.

В девять ноль-ноль он протянул мне сигарету. Не глядя. Я взяла. Опустила стекло. Закурила.

За окном была Мордовия. Поля, берёзы, деревни с синими наличниками. Похоже на наш Север, только мягче, и неба меньше, и воды нет. Я поймала себя на том, что смотрю на наличники и думаю о маме. Я не звонила ей сорок дней. Я обычно звоню раз в месяц, в первое воскресенье. Говорю: "Мам, привет, всё нормально, работаю". Она говорит: "Ну и работай". И мы молчим, пока кто-нибудь не скажет "ладно, пока". Так у нас уже девять лет.

- Ледовский, - сказала я.

- Да.

- А у тебя мама жива?

Я не знаю, зачем я спросила. Я знала ответ. Я знала дату. Четырнадцатое августа две тысячи второго года. Я знаю про эту семью всё.

- Нет, - сказал он.

- Ты помнишь её?

Он помолчал. Дорога шла прямо. Впереди ехала фура, и он не обгонял, держался за ней ровно на сорок метров.

- Руки, - сказал он. - Помню руки. И голос.

- Что она говорила?

- Пела.

Я ждала, что он скажет ещё что-нибудь. Он не сказал. Я докурила, бросила окурок в пепельницу, которую он поставил в подстаканник, ту самую, с рыбой, из Измайлова. Он её взял с собой. Я не знаю когда.

- А у тебя? - спросил он.

Это был первый вопрос, который он задал мне за десять дней. Не по делу. Он задал его тихо и не повернул головы, как будто это был не вопрос, а что-то случайное, вроде замечания о погоде.

- Жива, - сказала я. - На Севере. В Каменном Мысе. Это посёлок на Белом море. Ты не знаешь.

Он не ответил.

- Печёт шаньги, - сказала я. - На продажу. По выходным. Утром выставляет на окно, к обеду всё продано. Тридцать лет печёт. Говорит по-поморски, когда сердится. "Ох, девка, баско ты придумала". Это значит: "Ну ты и дура". Я не была дома девять лет.

- Почему?

Второй вопрос.

Я посмотрела на него. Он смотрел на дорогу. Профиль у него был как на монете, неподвижный. Только на виске билась жилка. Медленно.

- Поссорились, - сказала я. - На кладбище. У брата. Она сказала, что я живу мёртвыми. Что отец бы не хотел. Что надо жить. Я сказала, что буду жить, когда на его могиле напишут правду. Она сказала: "Тогда ты никогда не будешь жить". Я уехала на автобусе в тот же день. Это было девять лет назад, в августе.

Он ничего не сказал. Фура впереди включила поворотник. Он сбросил скорость.

- Это не по делу, - сказала я. - Забудь.

- Принял.

Но я видела, что он не забудет. Он ничего не забывает. Я это уже поняла.

* * *

Колония стояла в поле, за двумя рядами забора, среди берёз. Белые корпуса, вышки, ворота с колючкой. Я была здесь трижды. Ничего не меняется в таких местах, только краска на воротах.

Он остановил машину на стоянке у КПП. Заглушил. Повернулся ко мне. Впервые за всю дорогу посмотрел прямо.

- Я буду здесь, - сказал он.

- Знаю.

- Если что, звони.

- Что может случиться в женской колонии, Ледовский? Меня покусают?

Он ничего не ответил. Он смотрел на ворота. И у него было такое лицо, какого я ещё не видела. Не каменное. Наоборот. Как будто у камня треснула корка, и под ней что-то шевелилось.

- Она будет говорить про меня, - сказал он вдруг.

Я замерла с рукой на ручке двери.

- Откуда ты знаешь?

- Она всегда говорит про меня. Когда хочет сделать больно Ледовским.

- И что она скажет?

Он помолчал. Долго. Где-то на вышке залаяла собака.

- Не знаю, - сказал он. - Что-нибудь.

Я вышла. Пошла к КПП. Шла и чувствовала его взгляд между лопатками. Он смотрел, пока за мной не закрылась дверь.

* * *

Карина Вишневская похудела.

Это было первое, что я заметила. Полтора года назад она сидела у меня в кабинете в кашемировом костюме цвета топлёного молока, с маникюром, с браслетом на щиколотке, и была похожа на рекламу дорогих духов. Теперь на ней была тёмная роба с биркой на груди, волосы стянуты в узел, лицо без косметики. Скулы стали острее. Глаза остались те же. Очень светлые, очень спокойные, очень внимательные.

Она села напротив меня за стол в комнате для допросов. Сложила руки. На руках не было колец. Ногти короткие, чистые.

- Здравствуйте, Ирина Фёдоровна, - сказала она. - Вы похудели.

- Вы тоже.

- Мне можно, у меня режим. А у вас? - Она посмотрела на мой лоб, на ссадину. - Говорят, в вас стреляли.

- Кто говорит?

- Все. Тут смотрят телевизор. И читают телеграм. У нас тут, знаете, неплохо с информацией, лучше, чем в некоторых министерствах. - Она улыбнулась. Улыбка у неё была красивая, как и раньше. Это было неприятно. - Вы приехали с ним?

Я не ответила.

- С ним, - сказала она. - Я знаю. Мне передали, что на стоянке стоит чёрный "Ленд Крузер" с московскими номерами, а в нём сидит человек, который не двигается. Это Паша. Только Паша умеет так не двигаться. Знаете, как его называли в семье? Сторожевой. Олег придумал. Ещё в детстве. Он всегда сидел у двери. С пяти лет.

- Карина Эдуардовна, - сказала я. - У меня мало времени. Ваш адвокат сказал, что у вас есть сведения по делу о порте "Северный". Если это правда, я вас слушаю. Если вы позвали меня, чтобы поговорить о Ледовских, я уеду.

- Это одно и то же, - сказала она. - Вы же знаете.

Она откинулась на спинку стула. Помолчала. Посмотрела на окно с решёткой. За окном было небо и берёзы.

- Мне двадцать девять было, когда вы меня арестовали, - сказала она. - Сейчас тридцать один. Когда я выйду, мне будет тридцать семь. Как вам будет осенью. Смешно, да? Мы с вами будем ровесницами, только я буду ровесницей после колонии, а вы - после семнадцати лет одного дела. Не знаю, кто из нас будет выглядеть хуже.

- Вы меня позвали, чтобы сказать это?

- Нет. - Она вздохнула. - Вы скучная, Ирина Фёдоровна. Вы всегда были скучная. Это ваше достоинство. Вы единственный человек за всё следствие, который ни разу не повысил на меня голос. Знаете, как это злит? Я на всех действую. А на вас нет.

Она наклонилась вперёд и положила на стол руки. Ладонями вниз.

- У меня есть папка, - сказала она. - Я её нашла два года назад в архиве "Ледовский групп". Был у них там один старичок, очень милый, Аристарх Петрович, он хранил всё, что ему приносили, сорок лет, и думал, что это никому не нужно. Я ему носила конфеты. Он показывал мне старые коробки. Я искала там другое. Компромат на Сергея, если честно. А нашла папку. Её туда положили в две тысячи десятом году и забыли. Знаете, кто положил?

- Нет.

- Виктор Андреевич. Лично. Аристарх Петрович помнил. Он сказал, что Виктор Андреевич пришёл в архив в сентябре десятого года, сам, без секретаря, принёс тонкую папку и сказал: "Это не регистрировать. Это просто положить". И ушёл. Аристарх Петрович удивился. Он сказал, что за сорок лет Виктор Андреевич ни разу не приходил в архив сам.

- Что в папке?

Карина улыбнулась.

- Это потом.

- Карина Эдуардовна.

- Потом, - сказала она мягко. - Вы же понимаете. Если я вам сейчас всё отдам, вы уедете и больше никогда не приедете. А мне скучно, Ирина Фёдоровна. Мне здесь очень скучно. Я шью наволочки. Я хочу, чтобы вы ещё приехали.

- Чего вы хотите?

- Перевод, - сказала она просто. - В колонию поближе к Москве. Отец болеет. Он не может ездить сюда. Ему восемьдесят, вы знаете? Он продал всё, что у него было, чтобы мне платить адвокатам, а теперь у него ничего нет, и он живёт в однокомнатной квартире в Химках и каждую неделю пишет мне письма. Он пишет о погоде. Я хочу, чтобы он мог ко мне приезжать. Это всё. Вы можете написать ходатайство. Следователь, с которым осуждённая сотрудничает, может.

- Я не торгую, - сказала я.

- Я знаю. - Она вздохнула. - Вы скучная. Ладно. Тогда я дам вам кусочек бесплатно. Чтобы вам было не скучно. Чтобы вы вернулись.

Она достала из нагрудного кармана робы сложенный вчетверо листок. Пожелтевшая ксерокопия. Развернула. Положила на стол. Подвинула ко мне одним пальцем.

Это была страница из журнала. Разлинованная, с колонками. Номер, фамилия, должность, время прибытия, подпись дежурного. Почерк дежурного был крупный, старательный, как у человека, который в школе получал пятёрки по чистописанию. Двадцатое августа две тысячи десятого года. Порт "Северный". Пропуск на открытие причала номер три.

Запись сто двенадцать: "Ледовский В. А., генеральный директор ООО "Ледовский групп". С ним сын".

Я смотрела на эту строчку.

Я видела этот журнал. Я видела его в материалах дела. Журнал был приобщён к делу в сентябре десятого года. Только в деле запись сто двенадцать была другая. Там было написано: "Ледовский В. А., генеральный директор". И всё. Без сына. Я помнила это точно. Я помню всё.

- Это подделка, - сказала я.

- Нет, - сказала Карина. - Это оригинал. Подделка у вас в деле. Журнал переписали в сентябре. Страницу. Одну. Сто двенадцатую запись. Дежурный был очень старательный, он переписал её своим почерком, без сына. А старую страницу должен был сжечь. Он не сжёг. Он отдал её Виктору Андреевичу. А Виктор Андреевич положил её в папку. А папку - в архив. Он ничего никогда не выбрасывает, вы знаете? Он же бухгалтер в душе. Он всё хранит. На всякий случай.

Я подняла глаза.

- Какой сын? - спросила я.

Карина улыбнулась. Очень медленно. Очень красиво.

- У Виктора Андреевича было три сына, - сказала она. - В десятом году старшему было двадцать, среднему семнадцать, младшему тринадцать. Угадайте.

- Карина Эдуардовна.

- Я же сказала. Ваш охранник там был.

Я молчала.

- Вы решили, что это я специально, - сказала Карина. Она смотрела мне прямо в глаза. - Чтобы вы его прогнали. Да? Я бы тоже так решила. Я всё делаю специально. Это правда. Но знаете, Ирина Фёдоровна, иногда правда и специально совпадают. Это самое неприятное, что бывает в жизни. Я это поняла в январе прошлого года.

- Какой из них? - спросила я. Голос был ровный. Я им горжусь.

- Спросите у них, - сказала Карина. - У Ледовских. Кто был на причале. Они вам не скажут. Они никогда ничего не говорят. Это у них семейное. Серёжа пять лет молчал, Олег двадцать два дня молчал про одну записку, а Паша... ну, вы видели Пашу. А Виктор Андреевич вообще всю жизнь молчит. Только он теперь умирает, а когда Ледовские умирают, они начинают разговаривать. Поторопитесь.

Она встала. Конвоир у двери шагнул вперёд.

- Подумайте насчёт перевода, - сказала она. - Я подожду. Мне спешить некуда.

У двери она обернулась. Конвоир держал её за локоть.

- Ирина Фёдоровна, - сказала она. - Вы вернётесь.

- Почему вы так думаете?

- Потому что вы хотите знать, что в папке, больше, чем хотите жить, - сказала Карина Вишневская. - Я таких людей узнаю. Я сама такая.

Дверь закрылась.

Я сидела в комнате для допросов одна и смотрела на пожелтевший листок. "С ним сын". Я положила листок в папку. Руки у меня не дрожали. Я посмотрела на руки. Не дрожали. Я посидела ещё минуту, глядя на решётку и на берёзы за ней.

Двадцать, семнадцать, тринадцать.

В деле сына нет. Свидетели перечислены поимённо. Двадцать два человека. Ни одного Ледовского, кроме самого Виктора Андреевича, который дал показания на одной странице: "Находился на трибуне. Видел, как произошло обрушение. Причин не знаю".

Кто-то был там, рядом с ним. Сын. Кто-то видел. И кто-то сделал так, чтобы этого сына не было в деле. Переписали страницу журнала. Зачем переписывать страницу журнала, если мальчик просто стоял на трибуне рядом с папой?

Затем, что мальчик стоял не на трибуне.

Я встала и пошла к выходу.

* * *

Он ждал у машины. Стоял, прислонившись к двери. Увидел меня, выпрямился.

Я шла к нему через стоянку и смотрела на него. На его лицо. Я умею читать лица. Я читала его лицо и ничего не могла прочитать. Ровное, спокойное, светлые глаза. Только он не моргал. Он смотрел на меня и не моргал, пока я шла все тридцать метров.

Я остановилась перед ним.

- Ты сказал, что она будет говорить про тебя, - сказала я.

- Да.

- Она говорила.

Он молчал.

- Ледовский. - Я достала из папки листок, развернула и протянула ему. - Читай. Это можно. Я разрешаю. Читай.

Он взял листок. Посмотрел. Я видела, как его глаза прошли по строчке. Сто двенадцатая запись. "С ним сын". Его лицо не изменилось. Совсем. Ни один мускул. Но его пальцы, держащие листок, чуть-чуть побелели на концах.

- Кто из вас был там с отцом? - спросила я.

Он поднял глаза.

Мы стояли на стоянке у колонии. Над нами было огромное синее мордовское небо. На вышке лаяла собака. Где-то далеко, за полями, шёл поезд. Он смотрел на меня, и я видела,

что он что-то решает. Очень быстро и очень трудно. Как решают люди, которые стоят на краю и смотрят вниз.

- Спроси у отца, - сказал он.

Он вернул мне листок.

- Ты знаешь, - сказала я.

- Спроси у отца, - повторил он. Тихо. - Это его. Не моё. Он должен сказать сам.

Я смотрела на него. Мне хотелось ударить его. Хотелось закричать. Хотелось взять его за куртку и трясти, как я трясла того парня на берегу семнадцать лет назад, который держал меня, когда я бежала к брезенту. Я ничего этого не сделала. Я двенадцать лет на допросах.

- Хорошо, - сказала я. - Спрошу. Под протокол. Устрой мне встречу с твоим отцом.

- Он болен.

- Мне всё равно.

Он кивнул.

- Устрою, - сказал он. - В субботу у брата ужин. Отец будет. Я спрошу его.

- Не ты спросишь. Я спрошу.

- Да, - сказал он. - Ты.

Он открыл мне дверь машины. Я села. Он сел за руль. Завёл двигатель. Мы выехали со стоянки, и колония поплыла назад в зеркале.

Мы молчали до Рязани. Это было другое молчание. Не то, к которому я начала привыкать за десять дней. Тяжёлое. Как будто в машине кроме нас сидел кто-то третий.

Под Рязанью он остановился на заправке. Вышел. Вернулся с двумя бутылками воды и пирожком. Протянул мне пирожок.

- Ешь.

- Не хочу.

- Ешь.

Я взяла пирожок. Он был с капустой. Я откусила. Он смотрел, как я ем. Потом посмотрел на часы.

- Сигарету? - спросила я. - Пять уже.

Он достал пачку. Протянул мне. Не одну сигарету. Пачку.

Я смотрела на пачку у себя в руке.

- Это что? - спросила я.

- Сегодня можно, - сказал он. - Сегодня всё можно.

Он завёл машину. Я держала пачку. Я не открыла её до самой Москвы.

Где-то под Бронницами я посмотрела на него. Он вёл машину и смотрел на дорогу. Шёл дождь, дворники ходили туда-сюда, и в свете фар его лицо было очень усталым. Очень молодым. Мне вдруг показалось, что ему не тридцать, а гораздо меньше. Что-то в нём было мальчишеское. Что-то, что не выросло.

Двадцать, семнадцать, тринадцать, подумала я.

Сергею тогда было двадцать. Он учился в Лондоне, это я знала. Значит, не он. Олегу было семнадцать. Олег в августе десятого... Я не знала, где был Олег. Надо проверить.

Паше было тринадцать.

Тринадцатилетние мальчики не стоят на трибунах. Они бегают. Они лезут туда, куда нельзя. Они заходят за вагончики.

Я посмотрела на его руки на руле. Большие, с белыми шрамами на костяшках. Потом отвернулась к окну.

Нет, подумала я. Нет. Тринадцатилетний мальчик не смог бы молчать семнадцать лет. Так не бывает. Это был Олег. Олег, который двадцать два дня молчал про записку о "Ясном", про это писал весь телеграм. Олег, который умеет молчать о главном и шутить обо всём остальном.

Это был Олег. Карина хотела, чтобы я думала на Пашу. Это её стиль. Она всегда бьёт не туда, куда смотрит.

Я закрыла глаза.

Он выключил кондиционер. Я услышала щелчок.

Я так и не открыла пачку. Я держала её в руке до самого Измайлова. Когда мы приехали, я положила её на стол в кухне, перед ним. Нераспечатанную.

- Двенадцать, - сказала я. - Как договаривались. Завтра.

Он посмотрел на пачку. На меня.

- Хорошо, - сказал он.

Ночью я не кричала. Я вообще не спала. Я лежала и слушала, как за дверью, в коридоре, сидит человек. Не спит. Я знала, что не спит. Я тоже не спала.

Мы не спали вдвоём, через фанерную дверь. Всю ночь.

ГЛАВА 6. СЕМЕЙНЫЙ УЖИН

Паша

Обстановка. Дом брата, Пирогово. Выходов шесть: парадный, оранжерея, кухня, гараж, терраса, окно кабинета. Охрана: Гриша, двое на воротах. Гостей: четырнадцать, считая детей, медсестру и таксу. Отец.

Я позвонил отцу в четверг вечером, из машины, под её окнами.

Он взял после восьмого гудка. Раньше он брал после первого, как Олег. Теперь ему трудно дотянуться до телефона. Медсестра подаёт.

- Слушаю, - сказал отец. Голос был сухой, как бумага.

- Она хочет тебя допросить.

Пауза.

- Хорошо, - сказал отец.

- В субботу. У Серёжи.

- Хорошо.

- Отец.

- Да.

- Карина нашла папку.

Он молчал так долго, что я подумал, что связь прервалась. Потом я услышал, как он дышит. Медленно, со свистом.

- Я знаю, - сказал отец. - Она мне писала. Год назад. Я не ответил.

- Что в папке?

- Ты знаешь, что в папке.

- Я хочу услышать.

Опять пауза. Где-то у него в комнате тикали часы. Те самые, с камина. Я их слышал через телефон. Я их помню с пяти лет.

- Твоё объяснение, - сказал отец. - Которое ты дал участковому. И страница из журнала пропусков. И копия акта, первая. Без подписи. Я её взял со стола в вагончике, когда всё кончилось.

Я сидел в машине и смотрел на её окно. В окне горел свет. Она ходила по кухне, туда и обратно. Я видел тень.

- Зачем ты всё это хранил? - спросил я.

- Не знаю, - сказал отец. - Я ничего не выбрасываю. Ты знаешь.

- Ты мог сжечь.

- Мог, - сказал он. - Не сжёг.

Мы помолчали.

- Павел, - сказал отец. Он редко называет меня полным именем. Только когда хочет сказать что-то, что ему трудно. - В субботу я скажу ей, что сын был со мной. Я не скажу, какой.

- Почему?

- Потому что это должен сказать ты.

Я ничего не ответил.

- Я тебе велел молчать, - сказал отец. - Семнадцать лет назад. Я помню. Я тогда думал, что так надо. Я думал, что спасаю вас. Холдинг, Серёжу, Олега, Свету. Тебя. Я много что думал. - Он закашлялся, долго, и я слышал, как медсестра что-то говорит, а он отвечает ей "уйдите". - Я тебе теперь не могу велеть говорить. Это я тоже понимаю. Если я тебе велю, это будет то же самое. Ты опять будешь делать, что я велел. Поэтому я тебе ничего не велю. Скажи ей сам. Я не смог.

- Чего не смог?

- Ничего, - сказал отец. - Семнадцать лет. Ничего не смог.

Он положил трубку.

Я сидел в машине. Свет в её окне погас. Через десять минут в кухне загорелся снова. Она не спала. Я тоже.

* * *

В субботу у Серёжи было четырнадцать человек.

Это много для меня. В комнате, где больше пяти человек, я начинаю считать. Двери, окна, руки. Кто стоит, кто сидит, у кого что в руках. Это не страх. Это привычка. Как у неё сигареты.

Она стояла рядом со мной на крыльце и смотрела на дом. Дом у Серёжи большой, светлый, с оранжереей, где растут лимоны, и с верандой на залив. Его построила Оля. Оля строит дома, в которых хочется жить. Я в этом ничего не понимаю, но я это чувствую. В её домах у меня нет желания сесть у двери.

- Это всё твоя семья? - спросила Громова.

- Да.

- Четырнадцать человек.

- Тринадцать. Один из них такса.

Она посмотрела на меня. Мне показалось, что у неё в углу рта что-то дрогнуло.

На ней было серое платье. Не пальто. Платье. Простое, до колен. Она его купила в четверг, в торговом центре у Измайлова, за сорок минут, и всё это время я стоял у примерочной и смотрел на эскалатор. Она вышла из примерочной, посмотрела на себя в зеркало, сказала "ужас" и купила. Я ничего не сказал. Мне не показалось, что ужас.

Первой к нам вышла Наташа.

Она вылетела из дверей, как снаряд, в тельняшке, которая уже доходила ей до колен, с брезентовой рыбой под мышкой. Ей пять лет. Она ничего не боится и всех кусает, кого считает своими. Меня она укусила в мае прошлого года, в первую встречу. С тех пор я свой.

Она подбежала, остановилась и уставилась на Громову снизу вверх. Изучила. Туфли, платье, ссадину на лбу. Сигарету в пальцах.

- Ты кто? - спросила Наташа.

- Ирина, - сказала Громова.

- Ты Пашина жена?

- Нет.

- А чья?

- Ничья.

Наташа подумала.

- А ты когда умрёшь? - спросила она.

Я видел, как Громова замерла. Потом посмотрела на меня. Я ничего не сказал. Наташу не надо объяснять. Её надо пережить.

Громова присела на корточки. Сигарету отвела в сторону, за спину, чтобы дым не шёл на ребёнка. Посмотрела Наташе прямо в глаза.

- Меня в субботу чуть не убили, - сказала она серьёзно. - Стреляли. Не попали. Так что, наверное, не сегодня.

Наташа смотрела на неё с огромным уважением. Потом посмотрела на меня. Потом снова на неё.

- Паша, - сказала Наташа. - Её стреляли?

- Да.

- А ты где был?

- В Костроме. У вас.

Наташа подумала. Нахмурилась.

- Плохо, - сказала она мне строго. Потом повернулась к Громовой. - Он теперь будет рядом. Он всегда рядом. Он меня тоже охраняет. Только я не просила.

- Я тоже не просила, - сказала Громова.

Наташа кивнула, как будто они договорились о чём-то важном. Потом протянула Громовой рыбу.

- Подержи Сазана, - сказала она. - Он хочет к тебе.

Громова взяла рыбу. Брезентовую, старую, с чёрной пуговицей вместо глаза и красным поролоновым носом. Она держала её двумя руками и смотрела на неё. Я знаю эту рыбу. Её сшил человек, который умер. Наташа даёт её подержать только тем, кому страшно. Я не знаю, как она это определяет. Она никогда не ошибается.

Громова держала рыбу. У неё дрогнули пальцы.

- Спасибо, - сказала она.

- Потом отдашь, - сказала Наташа и убежала в дом.

* * *

Ужин был на веранде.

Длинный стол, скатерть, свечи, хотя было ещё светло. Серёжа во главе, Оля справа, Таня у неё на руках. Олег и Соня. Варя с книгой, Тим с верёвкой, Наташа с рыбой. Дима. Галина Петровна, мама Сони, которая всё время что-то записывала в маленький блокнот. Гриша у двери, с тарелкой. Аудит под столом. Отец в кресле у края веранды, с пледом на коленях, с палкой у подлокотника. Рядом медсестра.

Громова сидела рядом со мной. Я посадил её спиной к стене. Она это заметила и ничего не сказала.

Олег сказал тост. Олег всегда говорит тосты. Он говорит их так, что все смеются, а потом, когда расходятся по домам, вспоминают, что он сказал что-то важное. Он поднял стакан с компотом и сказал:

- За младшего брата. Который впервые за тридцать лет привёл к нам в дом женщину. Под конвоем. Свою. Павел, ты понимаешь, что ты сломал нам статистику? Варя посчитала. Варя, сколько?

- Ноль из тридцати, - сказала Варя, не отрываясь от книги. - До сегодняшнего дня. Сейчас один из тридцати одного. Три целых две десятых процента.

- Она не моя, - сказал я.

- Она ничья, - сказала Наташа. - Она сама сказала.

За столом засмеялись. Громова смотрела в тарелку. Мне показалось, что у неё покраснели уши. Не уверен. На веранде было уже темновато.

Соня посмотрела на неё через стол. Соня умеет смотреть на людей так, что им становится легче. Это у неё с работы. Она клоун в больнице. Я этого раньше не понимал, а потом увидел, как она входит в палату, и понял.

- Ирина, - сказала Соня. - Возьмите пирог. Его пекла Варя. Он немного кривой, но это не влияет.

- Он не кривой, - сказала Варя. - Это авторский замысел.

Громова взяла пирог. Посмотрела на него. Потом на Варю.

- Спасибо, - сказала она. - Я не ем по вечерам.

- Ешь, - сказал я.

Она посмотрела на меня. Потом откусила.

За столом стало очень тихо. Я не понял почему. Потом понял. Они все смотрели на нас. Серёжа, Оля, Олег, Соня. Даже Варя подняла глаза от книги. Даже отец. Они смотрели так, как смотрят на что-то, чего не ожидали увидеть.

- Что? - сказал я.

- Ничего, - сказал Серёжа. И отвернулся. У него было странное лицо. Как у человека, который сдерживает смех и что-то ещё.

Олег закашлялся в салфетку.

Соня сказала: "Можно ещё картошки?" - очень громко, и все сразу стали передавать картошку.

Громова смотрела в тарелку и ела пирог. Уши у неё точно были красные.

Тим сидел напротив меня. Ему девять лет, в сентябре будет десять. Он полтора года не разговаривал, а теперь разговаривает, понемногу, когда считает нужным. Он похож на меня. Я это понял давно. Не лицом. Тем, что сидит и смотрит.

Он смотрел на меня весь ужин. Потом протянул руку через стол и положил передо мной кусок верёвки. Белой, тонкой. Узел на ней был простой, плоский. Я его знаю. Рифовый. Им связывают два конца.

Я поднял глаза.

- Тим, - сказал я.

- Ты сжал вилку, - сказал Тим. Тихо, только мне. Голос у него ещё немного хриплый, как старая калитка. - Три раза. Когда дед на неё смотрит.

Я посмотрел на вилку у себя в руке. Разжал пальцы.

- Это тебе, - сказал Тим. И вернулся к своей тарелке.

Я взял верёвку. Положил в карман.

* * *

После ужина отец позвал её.

Он не позвал. Он посмотрел на неё через веранду. Один раз. Она встала. Я встал тоже.

- Нет, - сказала она, не оборачиваясь. - Пункт первый.

- Я не буду слушать. Я буду стоять у двери.

- Стой.

Отец сидел в саду, под молодыми яблонями. Там у него скамейка. Её поставил Серёжа, специально для него, два года назад. Отец сидит там каждую вторую субботу и смотрит на сад. Теперь он сидел в кресле на колёсах, рядом со скамейкой, потому что встать со скамейки он уже не может.

Я стоял на дорожке, в двадцати метрах. Слов я не слышал. Ветер дул с залива, от них ко мне, но слов не доносил. Я видел только.

Она села на скамейку. Достала блокнот. Не диктофон, блокнот. Она пишет от руки. Отец сидел в кресле, положив обе руки на палку. На запястье у него висел обрывок шнурка, который ему в прошлом сентябре завязал Тим. Он не снимает его.

Она что-то спросила. Отец что-то ответил. Коротко. Она спросила ещё. Отец покачал головой. Она подалась вперёд. Отец смотрел на неё. Долго. Потом сказал что-то длинное. Я видел, как двигаются губы. Она слушала. Не записывала. Ручка висела у неё в пальцах.

Потом отец сделал то, чего я не видел никогда. Он протянул руку и коснулся её руки. Одним пальцем. На секунду. И убрал.

Она сидела неподвижно.

Потом встала. Резко. Пошла по дорожке ко мне. Лицо у неё было белое. Губы сжаты в нитку. Она прошла мимо меня, не останавливаясь. Я пошёл за ней.

Она остановилась только у машины. Повернулась ко мне. Я увидел, что у неё дрожат руки. Она не пыталась это скрыть.

- Сигарету, - сказала она.

Я дал.

Она не смогла прикурить. Колёсико у зажигалки скользило под пальцем. Я взял зажигалку, чиркнул. Она прикурила. Затянулась. Выдохнула.

- Он сказал, что сын был с ним, - сказала она. - На причале. Что сын видел. Что сын рассказал участковому в тот же вечер. И что он, твой отец, пришёл ночью и забрал объяснение. И велел сыну молчать. Велел забыть. Отправил куда-то учиться. Он это всё сказал. Спокойно. Как будто читал протокол.

Я молчал.

- Я спросила, какой сын, - сказала она. - Он сказал: "Он вам скажет сам. Это его". Я сказала, что это его дело, а не сына. Что сын был ребёнком. Что это он, Виктор Андреевич, должен отвечать. Он сказал: "Я отвечу. Под протокол. В августе. У меня ещё одно дело". Какое, к чёрту, дело? Он умирает. Он сам сказал, что умирает. У него до сентября. А у меня семнадцать лет.

Она затянулась. Сигарета дрожала.

- А потом он сказал... - Она остановилась.

- Что?

Она посмотрела на меня. Очень странно. Как будто видела в первый раз.

- Он сказал: "Ваш отец кричал, чтобы людей увели с причала. Я слышал. Я стоял на трибуне и слышал. Я не увёл. Простите меня". И дотронулся. До руки. - Она посмотрела на свою руку, как будто на ней остался след. - Семнадцать лет, Ледовский. Семнадцать лет я ждала, что кто-нибудь из вас это скажет. Что вы слышали. Что он кричал. Что он не виноват. Я думала, что, если кто-нибудь когда-нибудь это скажет, я... Я не знаю, что я думала. Что мне станет легче. Мне не стало. Мне стало хуже.

Она бросила сигарету. Наступила на неё.

- Это Олег? - спросила она.

Я замер.

- Тот сын. Который видел. Это Олег? Ему было семнадцать. Он молчит про важное и шутит про всё остальное. Это его стиль. Весь телеграм писал, как он три недели молчал про ту записку. Это Олег?

Ветер шёл с залива. В доме кто-то засмеялся. Наташа. Я узнал смех. Хриплый, как у маленького бульдога.

Я мог сказать "нет". Одно слово. Я его говорю каждый день. Это моё самое частое слово после "да" и "принял".

Я мог сказать "это я".

- Спроси у Олега, - сказал я.

Она смотрела на меня. Долго. Я видел, как у неё в глазах что-то закрывается.

- Вы все одинаковые, - сказала она тихо. - Все. Даже ты.

Она открыла дверь машины и села. Я сел за руль.

Мы не попрощались ни с кем. Я написал Серёже сообщение: "Уехали. Спасибо". Он ответил через минуту: "Паш. Что происходит?" Я не ответил.

Мы ехали по ночному шоссе. Она смотрела в окно. Сазан лежал у неё на коленях. Она забыла отдать рыбу. Я увидел это только на МКАДе. Она держала рыбу двумя руками, как держат что-то, что боятся уронить.

Я ничего не сказал. Наташа сказала: "Потом отдашь".

* * *

Ночью я не сидел в кресле.

Я стоял у окна в большой комнате, в темноте, и смотрел на двор. Она спала. Или не спала. Из её комнаты не доносилось ни звука. Я не знаю, что хуже: когда она кричит или когда молчит.

Я достал из кармана Тимову верёвку. Рифовый узел. Два конца. Связывают, чтобы держало.

Ты сжал вилку три раза. Когда дед на неё смотрит.

Девятилетний мальчик, который полтора года молчал, увидел за ужином то, чего не увидел ни один взрослый за столом. Потому что он знает, как выглядит человек, который молчит о главном.

Олег, подумал я.

Она пойдёт к Олегу. Она не отступит. Она возьмёт Олега и посадит его на табуретку в своём кабинете, и будет спрашивать, и Олег будет шутить, потому что Олег не знает, о чём она. Олег в августе десятого года был в военном лагере под Тверью, куда его отправил отец, потому что ему надо было "закалиться". Олег ничего не видел. Олег узнает, что отец семнадцать лет хранил в архиве бумагу, которую написал его младший брат. И что младший брат молчал. Олег, который полтора года учился брать трубку.

Я посмотрел на свою руку. На шрамы на костяшках.

Мне было тринадцать лет. Я сидел в маленьком кабинете, на стуле, и мои ноги не доставали до пола. Человек в форме, с пятном от чая на рукаве, писал, а я говорил. Я говорил очень долго. Я тогда ещё умел. Я рассказал ему всё: про вагончик, про окно, про дядю с синей папкой, который сидел за столом и писал на бумаге, а рядом лежал другой лист, и он смотрел на тот лист и водил ручкой медленно-медленно, как будто срисовывал. Про человека в синей куртке, который кричал на причале. Про скрип. Человек в форме писал и иногда переспрашивал. В конце он сказал: "Молодец, пацан. Подпиши вот тут". Я подписал. Полным именем. Я тогда только научился красиво расписываться. Я гордился подписью.

Ночью пришёл отец.

Он сел на край кровати в гостиничном номере. Свет не включил. Я видел только его силуэт на фоне окна. Белая ночь. В августе на Севере ночи ещё светлые. Он сидел долго. Потом сказал:

- Ты ошибся.

Я сказал, что не ошибся.

Он сказал:

- Ты ошибся. Ты ничего не видел. Ты был на трибуне, со мной. Ты испугался, и тебе показалось. Так бывает. Это нормально. Это не стыдно. Ты ничего не видел. Ты понял?

Я сказал, что видел.

Он помолчал. Потом сказал то, что говорил нам всегда. За обедом, между супом и вторым. Когда у нас что-то болело, когда умерла мама, когда Серёжа плакал на похоронах. Он сказал:

- Выпрями спину.

Я выпрямил.

Утром мы улетели. В сентябре я уехал в кадетский корпус. В кадетском корпусе можно было не разговаривать. Там даже поощрялось. Потом армия. Там тоже. Потом то место, про которое я не рассказываю, где молчание было условием выживания. Я хорошо молчал. Меня хвалили. Я был лучшим.

В две тысячи тринадцатом году, в марте, я был в кадетском корпусе. Мне было пятнадцать. Я сидел в библиотеке и читал газету. Маленькая заметка в углу. Архангельская область. В колонии умер осуждённый по делу об обрушении причала. Главный инженер. Пятьдесят четыре года. Сердце.

Я помню, что сложил газету. Положил на место. Ночью лёг на спину и смотрел в потолок. Утром был кросс. Я пришёл первым.

Мне тридцать. Я начальник службы безопасности. Я считаю выходы. Я знаю, как уйти из любого помещения.

Только из этого не знаю.

Я стоял у окна до рассвета. Рассвет в Москве в июле ранний. В четыре уже серо. Во дворе на качелях сидел кот, не наш, рыжий. Он смотрел на меня.

В четыре двадцать открылась её дверь.

Она вышла в коридор. Босиком, в футболке. В руках у неё был Сазан. Она посмотрела на кресло. Пустое. Потом увидела меня у окна.

Мы смотрели друг на друга через тёмную комнату.

- Ты не сидишь, - сказала она.

- Нет.

- Почему?

Я не ответил.

Она подошла. Встала рядом. Посмотрела во двор. На рыжего кота на качелях.

- Я завтра пойду к твоему брату, - сказала она. - К Олегу. Под протокол.

- Я знаю.

- Ты меня не остановишь?

- Нет.

- Ты можешь мне что-нибудь сказать? - спросила она. Тихо. Не глядя на меня. - Сейчас. Что-нибудь. Не по делу. Просто. Что-нибудь.

Я смотрел на кота.

Скажи ей сам. Я не смог.

- Подожди, - сказал я. - Неделю. Пожалуйста.

Она повернулась ко мне. Посмотрела мне в лицо. Очень близко. Я видел, как у неё на виске бьётся жилка. Видел маленький шрам на скуле от стекла. Видел тени под глазами.

- Неделю, - повторила она. - Почему неделю?

Я не знал. Я сказал первое, что пришло в голову. Самое правдивое из того, что у меня было.

- Мне нужно научиться, - сказал я.

- Чему?

- Говорить.

Она смотрела на меня. Долго. Потом протянула мне Сазана.

- На, - сказала она. - Подержи. Мне сказали, он помогает, когда страшно.

Я взял рыбу.

Она ушла к себе. Дверь закрылась. Я сел в кресло. С рыбой.

Неделя, подумал я. У меня неделя.

Через сутки её квартира в Лефортове сгорела.

ГЛАВА 7. ПОЖАР

Ирина

Из показаний свидетеля Беловой А. С., вдовы крановщика, 2010 год: "Муж говорил, что сваи привезли не те. Что тонкие. Что Фёдор Ильич ругался. Больше ничего не знаю".

Неделю, сказал он.

Я не стала спрашивать почему. Это было против всех моих правил. За двенадцать лет на допросах я ни разу не дала подозреваемому неделю. Даже день. Даже час. Время в нашей работе - это всегда в пользу того, кто молчит. Это первое, чему учат в академии, и последнее, что забывают.

Я дала ему неделю.

В воскресенье я не поехала к Олегу Ледовскому. Я сидела на кухне Ваниной бабушки и смотрела на брезентовую рыбу. Он оставил её на столе, ночью, после того как просидел с ней в кресле до утра. Я вышла в семь двадцать, а рыба лежала на столе, рядом с моей тарелкой, ровно посередине, головой ко мне. Гречка была уже готова. Сигарета лежала рядом с рыбой.

Я съела гречку. Сигарету выкурила на балконе. Рыбу положила в свою сумку. Наташа сказала: "Потом отдашь". Я отдам. Потом.

Весь день я делала вид, что работаю. Перечитывала коробку номер один, допросы десятого года. Двадцать два свидетеля. Я знаю их наизусть. Я знаю, кто из них врёт, а кто просто не видел. Крановщик Белов погиб. Его жена сказала, что сваи были не те. Сварщик Ахметов погиб. Его жена сказала, что ничего не знает. Подсобник Ковалёв погиб, жены у него не было. Подсобник Громов погиб. Ему было семнадцать.

Когда я дошла до Костиной фамилии, я закрыла папку.

Неделю, сказал он. Мне нужно научиться говорить.

Я сидела и думала, что знаю, о ком он говорит. И не хотела знать. Это очень странное ощущение, когда ты следователь и ты не хочешь знать. Это как врач, который не хочет смотреть на снимок. Я двенадцать лет смотрела на всё. На мёртвых детей. На изнасилованных старух. На трупы в ваннах, которые пролежали месяц. Я смотрела. Я это умею.

Я не хотела смотреть на него.

Нет, сказала я себе. Это Олег. Семнадцать лет. Высокий, худой, умный. Отец таскал его по объектам, он об этом сам рассказывал в интервью, я читала. Олег стоял на трибуне, а потом пошёл за вагончик, потому что ему было скучно. Олег видел. Олег рассказал участковому. Потом пришёл отец, и Олег стал шутить. Он шутит с семнадцати лет обо всём, что болит. Это его способ молчать.

А Паша...

Паше было тринадцать. Тринадцатилетние мальчики не видят. Тринадцатилетние мальчики бегают, едят пирожки и смотрят на воду. Тринадцатилетний мальчик не смог бы семнадцать лет сидеть с этим внутри и ни разу, ни одному человеку...

Я встала и пошла на балкон. Без сигареты. Он сидел на кухне и смотрел в окно. Когда я прошла мимо, он не повернул головы. Он почти не поворачивал головы весь день. Он почти не разговаривал. Даже для него это было мало.

Внизу, на детской площадке, на качелях сидела та же девочка, что и неделю назад. Пела. Я стояла и слушала. Слов было не разобрать.

Я не хотела знать, потому что если это он, то мне придётся что-то с этим сделать. А я не знала что.

* * *

Звонок был в понедельник, в два сорок ночи.

Я не спала. Я лежала и смотрела на икону в углу. Ванина бабушка оставила её, Николай Угодник, старый, тёмный, в окладе из фольги. Я на него смотрела каждую ночь. Он на меня тоже. Мы с ним молчали. Мне казалось, что он единственный в этой квартире, кто молчит хуже, чем человек в кресле за дверью.

Телефон на тумбочке загудел. Номер был незнакомый.

- Громова, - сказала я.

- Ирочка! - Голос был старый, скрипучий, перепуганный. - Ирочка, это Лидия Петровна! Из пятого! Ирочка, у тебя горит! Горит квартира! Ирочка, ты живая? Ты где?

Я села.

- Я не дома, Лидия Петровна. Что горит?

- У тебя! У тебя в окнах! Я встала, потому что запах, я думаю, опять Сидоровы со второго курят на лестнице, я вышла, а там дым из-под твоей двери! Я позвонила! Ирочка, они не едут! Я пятнадцать минут звоню! Они говорят, едут, а их нет! У тебя там стёкла лопаются!

Я уже стояла. Я уже натягивала джинсы. Дверь моей комнаты открылась. Он стоял на пороге. Одетый. Ключи от машины в руке. Он ничего не спросил.

- Еду, - сказала я в трубку. - Лидия Петровна, выходите из подъезда. Все выходите. Стучите соседям и выходите.

- А кот твой? Ирочка, кот?

- Кот со мной.

Пристав сидел на подоконнике и смотрел на меня круглыми глазами.

Мы ехали шестнадцать минут. Ночью от Измайлова до Лефортова можно и за десять, если гнать. Он гнал. Он вёл машину так, как я никогда не видела, чтобы кто-нибудь вёл: ровно, без рывков, очень быстро, как будто машина ехала по рельсам. На красный он не тормозил, только сбрасывал скорость и смотрел налево и направо, и мы проходили перекрёсток, как вода проходит сквозь щель. Я держалась за ручку над дверью и молчала.

Дым я увидела с Лефортовского вала.

Пожарных не было. Скорая была, одна, стояла у соседнего подъезда, и рядом с ней толпились люди в халатах и тапках. Лидия Петровна в розовой кофте, с химией, кричала на фельдшера. Из моих окон на третьем этаже шёл чёрный дым. Окно на кухне было выбито, из него выходил язык огня, жёлтый, ленивый, и лизал карниз.

Я выскочила из машины раньше, чем он остановился. Он поймал меня за руку. Не грубо. Просто взял. Как берут ребёнка за руку у дороги.

- Стой, - сказал он.

- Там мои коробки!

- Стой.

- Там пятнадцать коробок, Ледовский! Там всё! Семнадцать лет! Там мои пометки, там всё, что я... Отпусти!

Он не отпускал. Он смотрел на окна. Я видела, как его глаза идут по фасаду: окна, подъезд, водосточная труба, соседние окна, крыша. Ровно, по кругу. Он считал.

- Пожарные где? - спросил он у мужика в майке, который стоял рядом и снимал на телефон.

- А хрен их знает. Звонили. Говорят, на Авиамоторной пробка, ремонт. Объезжают.

Он кивнул. Отпустил мою руку. Снял куртку. Отдал её мне.

- Держи, - сказал он.

Я взяла куртку. Я ещё не поняла.

- Ключи, - сказал он.

- Какие ключи?

- От квартиры.

Тут я поняла.

- Нет, - сказала я. - Нет. Ты с ума сошёл. Нет. Это бумага. Это просто бумага, Ледовский, это копии, оригиналы в архиве, это всё можно восстановить... Не смей. Слышишь? Не смей! Пункт пять! Не смей меня спасать!

- Это не тебя, - сказал он. - Ключи.

Я стояла и держала его куртку. Он ждал. Две секунды. Три. Потом он развернулся и пошёл к подъезду без ключей.

- Ледовский!

Он не обернулся. Он подошёл к машине скорой, сказал что-то фельдшеру, тот кивнул и сунул ему в руки маску, какую-то тряпку и бутылку воды. Он вылил воду на тряпку. На голову. На себя. Надел маску. И вошёл в подъезд.

Я стояла и кричала ему вслед. Я не помню что. Лидия Петровна потом сказала, что я кричала очень нехорошие слова. Что она таких от меня никогда не слышала. Что она даже от покойного мужа таких не слышала, а он был шофёр.

Потом я замолчала. Я стояла и смотрела на дверь подъезда.

Я двенадцать лет хожу по местам происшествий. Я видела пожары. Я знаю, что такое угарный газ в закрытом помещении. Я знаю, сколько минут нужно, чтобы человек потерял сознание. Я видела, как их выносят. Они выглядят так, будто спят. Только лица розовые. Это от угарного газа. Розовые лица у мёртвых всегда выглядят хуже всего, потому что кажется, что они живые.

Я считала. Я поняла, что считаю. Как он. Секунды. Двадцать. Тридцать. Сорок.

На пятьдесят второй секунде дверь подъезда открылась, и он вышел. С двумя коробками. Чёрный от копоти. Маска на лице. Он поставил коробки на асфальт, у моих ног. Ничего не сказал. Развернулся и пошёл обратно.

- Нет! - сказала я. - Хватит! Ледовский! Две! Хватит!

Он вошёл в подъезд.

Он сходил семь раз. Каждый раз по две коробки, один раз одну. Каждый раз дольше. На пятый раз он вышел и закашлялся, согнулся пополам у двери, опёрся рукой о стену, и я побежала к нему, а он поднял руку, ладонью ко мне, и я остановилась. Он отдышался. Выпрямился. Пошёл обратно.

На седьмой раз приехали пожарные.

Две машины, с сиреной, с мигалками, с людьми в касках, которые выскочили и сразу стали разматывать рукава. Один из них, старший, побежал к подъезду и столкнулся в дверях с Ледовским, который выходил с последней коробкой. Пожарный схватил его за плечо и что-то заорал. Ледовский посмотрел на него. Пожарный замолчал и отпустил плечо.

Он поставил коробку к остальным. Тринадцать коробок. Из пятнадцати. Две он не донёс, они стояли у окна на кухне, там, где начался огонь. Он сел на бордюр. Снял маску. Лицо у него было чёрное, только вокруг глаз белые круги и на губах белая полоска. Брови обгорели. Он кашлял. Он сидел и кашлял, и держал руки на коленях, ладонями вверх.

Ладони были красные. На левой вздувался пузырь.

Я подошла. Встала перед ним. Он поднял голову.

- Тринадцать, - сказал он хрипло. - Две не смог. Кухня.

Я стояла и смотрела на его руки.

Потом я ударила его. Кулаком в плечо. Не сильно. Не знаю зачем. Потом ещё раз. Потом я села рядом с ним на бордюр, и вцепилась ему в футболку, мокрую, вонючую, чёрную от сажи, и держала, и не могла разжать пальцы.

- Идиот, - сказала я. - Идиот. Идиот. Это бумага. Слышишь? Это просто бумага. Ты идиот.

- Там твои пометки, - сказал он.

Я замолчала.

- На полях, - сказал он. - Ты пишешь на полях. Карандашом. Я видел. Когда ты читаешь, ты пишешь. Семнадцать лет пишешь. В архиве этого нет.

Я смотрела на него. Он смотрел на свои руки.

- Ты сказал, что не смотришь мои бумаги, - сказала я. Голос у меня куда-то делся.

- Я не читал. Я видел, что пишешь.

Пожарные кричали. Вода била в окно моей кухни. Лидия Петровна плакала у скорой. Мужик в майке снимал всё на телефон, и я подумала, что завтра это будет в телеграме, и что мне всё равно.

Я держала его за футболку. Я поняла, что держу, и не отпустила.

* * *

Фельдшер обработал ему руки прямо на ступеньке скорой. Ожоги второй степени на левой ладони, первой на правой. Сказал, что надо в травмпункт, что надо в ожоговый, что надо, надо, надо. Ледовский сказал: "Нет". Фельдшер посмотрел на него и спорить не стал. Наложил повязки. Дал какие-то таблетки. Ледовский их съел, не запивая.

Я сидела рядом. Держала его куртку.

Старший пожарный подошёл через сорок минут. Мокрый, усталый, злой. Посмотрел на меня, на удостоверение, которое я ему показала, на Ледовского с забинтованными руками.

- Поджог, - сказал он. - Под дверью. Бензин. Плеснули в щель, подожгли. Дверь у вас деревянная, старая, занялась сразу. Потом прихожая, потом кухня. В комнате меньше. Стены целы, перекрытия целы. Жить нельзя. - Он посмотрел на коробки. - Это что?

- Документы, - сказала я.

- Он выносил? - Пожарный кивнул на Ледовского.

- Да.

- Семь раз?

- Да.

Пожарный посмотрел на Ледовского долго. Потом сказал что-то, что я тоже не буду здесь приводить. Потом сказал:

- Дурак. Но крепкий.

И ушёл.

Ледовский сидел на ступеньке скорой и смотрел на коробки. Я села рядом. Мы сидели вдвоём. Начинало светать. Июльские ночи в Москве короткие, в четыре уже серо. Пожарные сворачивали рукава. Соседи расходились. Лидия Петровна подошла ко мне, обняла меня, мокрую от слёз, пахнущую валокордином, и сказала мне на ухо, громким шёпотом, который слышал весь двор:

- Ирочка. Это он? Охранник, который сломался?

- Да, Лидия Петровна.

- Ирочка, он не сломался, - сказала Лидия Петровна. - Он хороший. Ты его не обижай.

И ушла.

Я сидела и смотрела перед собой.

- Они не знают, где я живу, - сказала я. - Теперь. Они думали, что я там. Плеснули бензин под дверь в три часа ночи. Думали, что я там сплю.

- Да.

- Если бы ты не...

- Ты бы спала в Измайлове. Это не я. Это Ваня.

- Если бы ты не сидел у меня на лестнице в первую ночь, - сказала я, - я бы никуда не переехала. Я бы спала там. На кровати. Над коробками.

Он ничего не ответил.

- Они хотят, чтобы меня не было, - сказала я. - И их не волнует, сколько ещё человек при этом сгорит. Над моей квартирой живут люди. Сидоровы со второго курят на лестнице. Лидия Петровна в пятом. Им всё равно.

- Да.

- Как тогда, - сказала я.

Он повернул голову.

- На причале, - сказала я. - Им тогда тоже было всё равно. Отец кричал, чтобы людей увели. Твой отец сказал, что слышал. Они не увели, потому что ленточка, губернатор, телевидение. Им было всё равно, сколько человек там стоит. Там стояли семьи, Ледовский. С детьми. С бабушками. Чудо, что погибли только четверо.

Он смотрел на меня. Лицо у него было чёрное, глаза светлые, и в этих глазах что-то происходило. Я впервые видела, чтобы в них что-то происходило так явно. Как будто там, за водой, кто-то стучал в стекло и просился наружу.

- Ирина, - сказал он.

Он первый раз назвал меня по имени. Без отчества. Я замерла.

- Да?

Он открыл рот. Я видела, как он набирает воздух. Как напрягается горло. Как у него дрогнули пальцы на перебинтованных руках.

И в этот момент у меня зазвонил телефон.

Сомов. В пять утра.

Я смотрела на экран. Ледовский закрыл рот. Отвернулся. Я видела, как у него на шее ходит кадык.

Я взяла трубку.

- Громова, - сказал Сомов. Голос у него был такой, будто он не спал. - Я в курсе. Ты жива?

- Да.

- Твой охранник?

- Жив. Обжёг руки. Вынес тринадцать коробок.

Сомов помолчал.

- Ваниной бабушки адрес есть в Ваниной личной карточке, - сказал он. - В графе "близкие родственники". Личные карточки в кадрах. Доступ к кадрам есть у заместителей начальника управления. Ты меня поняла?

- Поняла.

- Уезжай, - сказал Сомов. - Из Москвы. Куда-нибудь. Пока я тут разбираюсь. Неделю, две. Отпуск у тебя за три года не отгулян, я подпишу. Задним числом, если надо.

- У меня допросы. У меня экспертиза почерка.

- Экспертизу сделает Ваня. Допросы подождут. Мёртвые не допрашивают, Громова. Уезжай. Это приказ.

Он отключился.

Я сидела с телефоном в руке. Ледовский смотрел на коробки.

- Надо уехать, - сказала я.

- Да.

- Сомов говорит, что утечка в кадрах. Что Ванин адрес можно найти.

- Да.

- Куда?

Он молчал. Я смотрела на свои тринадцать коробок, на бордюр, на мокрый асфальт, на светлеющее небо. Небо было бледное, с розовым краем, как бывает только в июле.

На Севере, подумала я, сейчас вообще не темнеет. Белые ночи. Солнце садится в полночь и встаёт в два. Небо всю ночь как вот это, сейчас.

- Домой, - сказала я.

Он повернул голову.

- В Каменный Мыс, - сказала я. - К маме. Там Сухих. Участковый. Он был первым на месте в десятом году. Его ни разу не допрашивали. Он в деле есть только как подпись под протоколом осмотра. Я ему писала три раза, он не ответил. Я поеду к нему сама. И там тетради отца. Мама их не выбросила. И Костины вещи. И причал.

Он смотрел на меня. Очень долго.

- Каменный Мыс, - сказал он.

- Ты не знаешь, где это. Белое море. Тысяча двести километров. Последние сто по грунтовке.

- Знаю, - сказал он.

Я посмотрела на него.

- Откуда?

Он не ответил. Он смотрел на меня, и лицо у него было чёрное и неподвижное, и только на виске, там, где обгорела бровь, билась жилка.

- Там тебя убьют, - сказала я. - Ты понимаешь? Не меня. Тебя. Там Ледовских ненавидят. Там каждая вторая семья кого-то потеряла или кто-то был ранен. Там на заборе рыбзавода семнадцать лет пишут краской одно слово, и это слово ваша фамилия. Если ты там скажешь, как тебя зовут...

- Знаю, - сказал он.

- Откуда ты знаешь?!

Он смотрел на меня. Потом поднял забинтованную руку и очень осторожно, одним пальцем, тем, что не был обожжён, стёр что-то у меня со щеки. Сажу, наверное. Или не сажу.

- Неделя, - сказал он. - Ты обещала.

Я замолчала.

Он встал. Пошёл к коробкам. Взял одну, забинтованными руками, морщась. Понёс к машине.

Я сидела на ступеньке скорой и смотрела ему в спину.

Неделя, подумала я. Сегодня понедельник. У него осталось шесть дней.

И я вдруг поняла, что боюсь этих шести дней больше, чем бензина под дверью.

* * *

Мы выехали в среду, в пять утра.

Перед этим было два дня, которые я плохо помню. Сомов подписал отпуск. Ваня забрал коробки на свою дачу в Подмосковье, сказал, что там погреб, сухой, и что туда никто никогда не ездит, кроме его тётки, а тётка в Твери. Я позвонила маме. Первый раз за сорок шесть дней. Она взяла после первого гудка.

- Мам, это я.

- Слышу.

- Я приеду. В четверг. Можно?

Мама молчала. Долго. Я слышала, как у неё в доме тикают ходики, те самые, с кукушкой, у которой нет головы, потому что Костя в десять лет её отломал. Я слышала, как шумит за окном море.

- С кем? - спросила мама.

Я не говорила, что не одна. Я вообще ничего ещё не сказала. Мама всегда знала. Это у неё не от следователей. Это у неё от моря. Поморки знают, когда в дом идёт гость, по тому, как кричат чайки.

- С охранником, - сказала я.

- Ох, девка, - сказала мама. - Баско ты придумала. Приезжай.

И положила трубку.

Я стояла с телефоном у окна в Измайлове. Ледовский сидел на табуретке и смотрел на меня. Руки у него были в свежих повязках. Брови обгорели, и от этого лицо стало каким-то беззащитным, как у новорождённого.

- Что она сказала? - спросил он.

- Это не по делу.

- Да.

Я посмотрела на него.

- Она сказала: "Ну ты и дура". По-поморски. И чтобы приезжали.

Мне показалось, что у него в углу рта что-то дрогнуло.

- Хорошо, - сказал он.

Он взял со стола пачку. Достал одну сигарету. Протянул мне. Было девять вечера. Последняя.

Я взяла. Посмотрела на неё. Положила обратно в пачку.

- Не хочу, - сказала я.

- Это не значит, что ты согласна.

- Нет, - сказала я. - Не значит.

Он записал что-то в свой блокнот. Я видела, что он ведёт блокнот. Маленький, чёрный, в клетку. Я никогда не спрашивала, что он там пишет. Пункт первый работает в обе стороны.

Пристав спал у него на коленях. Сазан лежал у меня в сумке.

До отъезда оставалось восемь часов.

До конца его недели - пять дней.

ГЛАВА 8. БЕЛЫЕ НОЧИ

Паша

Обстановка. Трасса М8, Ярославль - Вологда - Архангельск. Тысяча двести шестьдесят километров. Дальше сто четыре по грунтовке. Объект спит. Кот в переноске, не спит, недоволен.

До Ярославля она молчала. После Ярославля спала.

Пристав выл в переноске на заднем сиденье от МКАДа до Переславля. Потом замолчал и лёг. Я посмотрел на него в зеркало. Он смотрел на меня. В его глазах было написано, что он этого не забудет.

За Вологдой лес стал другим. Ниже и темнее. Ели, болота, кривые сосны. Деревни реже. Небо выше. Где-то за Вологдой я заметил, что солнце не садится. Было одиннадцать вечера, а оно висело над лесом, низкое, красное, и не опускалось. Просто ползло вдоль горизонта, как будто кто-то вёл его по линейке.

Я не был на Севере семнадцать лет. Я специально не был. Меня два раза посылали в командировки в Мурманск, я оба раза нашёл, как отказаться. Я думал, что забыл, какое здесь небо.

Не забыл.

Она проснулась в половине первого ночи. Села. Посмотрела в окно. Там было светло, как в Москве в семь вечера. Сосны стояли чёрные на розовом.

- Где мы? - спросила она.

- После Вельска. Четыреста семьдесят до Архангельска.

- А почему светло?

- Белые ночи.

Она посмотрела на меня. Странно. Как будто не понимала, откуда я это знаю. Потом снова в окно.

- Я забыла, - сказала она. - Я девять лет не была. Я забыла, что не темнеет.

Мы ехали. Солнце ползло по краю леса. Дорога была пустая, только иногда шли навстречу лесовозы, огромные, с брёвнами, и после них машину качало. Она смотрела в окно, и я видел её отражение в стекле, бледное, с тенями под глазами.

- Ты когда-нибудь спал в белую ночь? - спросила она.

- Нет.

- Невозможно. Летом никто не спит. Костя в июне вообще не ложился. Он уходил с пацанами на мыс и сидел там до утра. Рыбу ловили, костёр жгли, болтали. Мама ругалась. Отец говорил: "Пусть сидит. Зимой отоспится". Зимой здесь солнце встаёт на три часа. Тогда никто не встаёт.

Это был первый раз, когда она сказала о брате что-то, кроме "погиб". Я слушал. Я не знал, что сказать. Я никогда не знаю, что сказать. Я просто слушал и вёл машину.

- Он хотел быть моряком, - сказала она. - Как дед. Дед ходил на траулере на Шпицберген. Костя собирался в мореходку в Архангельске. Подал документы. На причал устроился на лето, чтобы заработать на форму. Ему сказали, что форму надо покупать самим. Он стоял там в оранжевом жилете, потому что ему было очень приятно в нём стоять. Мама потом сказала, что он неделю ходил в этом жилете по дому. Даже ужинал в нём.

Она замолчала.

Я вёл машину. Руки на руле у меня были в бинтах, под бинтами болело. Я был этому рад. Мне нужно было, чтобы где-то болело снаружи.

Оранжевый жилет. Он стоял у края причала и смеялся.

- Ледовский, - сказала она.

- Да.

- Ты чего?

- Ничего.

- Ты так руль сжал, что у тебя кровь на бинтах.

Я посмотрел на руки. Правда. На левом бинте проступило пятно. Я разжал пальцы. Положил одну руку на колено.

- Останови, - сказала она.

Я остановил. На обочине, у поворота на какую-то деревню без названия. Она вышла. Обошла машину. Открыла мою дверь.

- Выходи.

- Зачем?

- Я поведу.

- Ты не спала.

- Я спала шесть часов. Ты не спал вообще. И у тебя руки. Выходи. Это не по делу, это санитарные нормы.

Я вышел.

Она села за руль. Подвинула кресло вперёд, очень далеко. Подняла зеркало. Посмотрела на меня через открытое окно.

- Садись, - сказала она. - Справа. И спи. Это приказ.

- Ты мне не начальник.

- Я майор юстиции, - сказала она. - Ты гражданское лицо. Садись.

Я сел справа. Она тронула машину. Плавно, аккуратно. Водила она хорошо. Чуть резко на поворотах, как все, кто водит по городу, но хорошо.

Я не собирался спать. Я никогда не сплю, когда за рулём кто-то другой. Я смотрю на дорогу и на руки водителя.

Я смотрел на её руки на руле. Маленькие, с короткими ногтями. На безымянном пальце правой руки белая полоска. Старая. От кольца, которое она давно не носит.

Я закрыл глаза на секунду.

Когда я открыл их, машина стояла. Солнце было уже с другой стороны. Мы стояли у заправки, на окраине какого-то города. Деревянные дома, трубы, кран над рекой. Она сидела за рулём и курила, опустив стекло. Пристав спал у неё на коленях. Я не помнил, как он туда попал.

- Архангельск, - сказала она. - Пять утра. Ты спал четыре часа двадцать минут. Я засекла.

Я молчал.

- Ты храпишь, - сказала она. - Немного. Как кот.

- Я не храплю.

- Храпишь. Пристав подтвердит.

Пристав открыл один глаз и закрыл его обратно.

- Сигарету ты взяла сама, - сказал я.

- Ты спал. Я подумала, что одна в час. Я посчитала. Я не курила с девяти вечера. Восемь часов. Восемь сигарет. Я выкурила одну. У меня ещё семь.

Я посмотрел на неё. Она смотрела на меня. Сквозь дым. Очень спокойно.

- Ты посчитала, - сказал я.

- Ты меня заразил.

Я достал из кармана блокнот. Открыл. Записал. "Спала 6 ч. Курила 1 (сама). Вела 4 ч 20 мин". Посмотрел на запись.

- Что ты там пишешь? - спросила она.

- Пункт первый.

Она хмыкнула. И не стала спорить.

* * *

Последние сто четыре километра были грунтовкой.

Дорога шла через лес, потом через болото, по насыпи, потом снова через лес, потом вдруг лес кончился, и справа открылось море.

Я знал, что оно будет. Я не был готов.

Белое море не белое. Оно серое, огромное, плоское, и такое светлое, что больно смотреть. Оно лежит до самого неба и сливается с ним, и не видно, где кончается вода. По нему идёт рябь, мелкая, как на коже. Над ним кричат чайки. Пахнет водорослями, рыбой и солью. И ветер. Ветер здесь всегда, даже когда его нет.

Она остановила машину на холме. Вышла. Я вышел тоже.

Внизу лежал посёлок. Деревянные дома, серые, синие, зелёные, по склону, до самой воды. Церковь с куполом, крашенным в голубой. Маяк на мысу, белый с красной полосой. Рыбзавод, бетонная коробка с трубой. И порт.

Порт был справа, за мысом. Новый причал, длинный, бетонный, с двумя кранами. Его построили в четырнадцатом году. Другая компания. Я читал. А левее нового, у самого мыса, из воды торчали сваи.

Ржавые. Кривые. Штук двадцать. Они торчали из воды, как обломанные зубы. Над ними на берегу стоял крест. Деревянный, высокий, тёмный.

Она стояла и смотрела на сваи. Я стоял рядом.

Я помнил, где стоял вагончик. Там, на берегу, у начала причала, где сейчас крест. Синий, строительный, с решёткой на окне. Я помнил обрыв за ним. Обрыв был на месте. Невысокий, метра три. Камни, глина, жёсткая трава.

Я стоял на холме, и мне было тринадцать лет.

- Это причал номер три, - сказала она. - То, что от него осталось. Крест поставили через год. Мама поставила, и Белова, и Ахметова. Сами. Без разрешения. Его три раза пытались убрать, но мужики с рыбзавода приходили и ставили обратно. Потом перестали убирать.

Я ничего не сказал.

- Ты бледный, - сказала она.

- Укачало.

Она посмотрела на меня. Долго. Я видел, как она хочет что-то спросить. Не спросила.

- Поехали, - сказала она. - Мама ждёт.

На въезде в посёлок, на бетонном заборе рыбзавода, большими буквами краской было написано одно слово. Буквы были старые, выцветшие, потом по ним прошлись ещё раз, свежей краской, красной, и ещё раз, и ещё. Видно было слои. Как годовые кольца.

Наша фамилия.

И ниже, мельче, другой рукой: "Убийцы".

Она проехала мимо, не сбавляя скорости. Я смотрел на забор, пока он не кончился.

- Я предупреждала, - сказала она, не поворачивая головы.

- Да.

- Не говори никому, как тебя зовут.

- Я не говорю.

- Я заметила, - сказала она.

* * *

Дом стоял у самой воды. Синий, двухэтажный, с белыми наличниками, с высоким крыльцом. Перед домом огород, картошка и лук, и столб с бельевой верёвкой. На верёвке сушились наволочки. Ветер их надувал, как паруса.

На крыльце стояла женщина.

Я видел её сразу. Маленькая, крепкая, в синем фартуке поверх цветастого платья, в резиновых сапогах. Седые волосы, короткие, как у дочери, только светлые. Лицо обветренное, тёмное от солнца и ветра. Руки в муке. Она стояла и смотрела на машину. Не спускалась. Ждала.

Громова заглушила двигатель. Сидела. Не выходила.

- Ирина, - сказал я.

- Сейчас.

Она сидела. Руки на руле. Смотрела на мать через лобовое стекло. Женщина на крыльце смотрела на неё. Девять лет, подумал я. Они не виделись девять лет. А теперь между ними двадцать метров огорода, и ни одна не может их пройти.

Я вышел первым. Обошёл машину. Открыл заднюю дверь. Взял переноску с Приставом. Пристав возмущённо мяукнул. Я пошёл к крыльцу.

Женщина смотрела, как я иду. Я поднялся на три ступеньки. Остановился на нижней. Поставил переноску.

- Здравствуйте, - сказал я.

- Здравствуй, - сказала она. Голос был низкий, с хрипотцой, как у дочери. - Охранник?

- Да.

- А чего с руками?

- Обжёг.

- Где?

- На пожаре.

Она посмотрела на мои руки. Потом на брови. Потом мне в лицо. Глаза у неё были светлые, жёлтые, как у Ирины. Точно такие же. Только старше. И в них было то, чего нет в Ирининых. Что-то спокойное. Как море в штиль.

- Как звать? - спросила она.

- Павел.

- А по фамилии?

Я знал, что она спросит. Я думал об этом всю дорогу. Тысячу двести шестьдесят километров. Я мог сказать любую фамилию. Иванов. Петров. Ирина бы не возразила. Она сама сказала: "Не говори никому".

Позади хлопнула дверца машины. Ирина вышла. Я не обернулся.

- Ледовский, - сказал я.

Ветер хлопнул наволочкой на верёвке.

Женщина стояла на крыльце и смотрела на меня. Лицо у неё не изменилось. Совсем. Только руки, в муке, перестали двигаться. Она до этого вытирала их о фартук. Перестала.

Я стоял на нижней ступеньке. Ждал. Я не знал, чего жду. Может, что она меня ударит. Я бы не стал закрываться. Может, что скажет уйти. Я бы ушёл. Я бы спал в машине у дома. Это я умею.

- Мам, - сказала Ирина за моей спиной. Голос у неё был странный. Детский. - Мам, это...

- Вижу, - сказала женщина.

Она смотрела на меня ещё секунд пять. Потом спустилась на одну ступеньку. Теперь мы стояли почти вровень, хотя она была на голову ниже. Она подняла руку, в муке, и я подумал, что вот сейчас. Я не закрылся.

Она взяла меня за подбородок. Сухими сильными пальцами. Повернула мою голову к свету. Посмотрела на обгоревшие брови. На шрам над левой.

- Молодой, - сказала она. - Совсем. Сколько тебе?

- Тридцать.

- А тогда сколько было?

Я замер.

Она смотрела мне в глаза. Я в её. Она ничего не знала. Не могла знать. Она спрашивала про то, сколько мне было, когда умер её сын, потому что любая мать посчитала бы. Это всё. Это просто арифметика.

- Тринадцать, - сказал я.

Она отпустила мой подбородок. Вытерла руку о фартук. Кивнула.

- Фамилию свою у порога оставь, - сказала она. - У меня в доме фамилий нет. Есть люди, которые едят, и люди, которые не едят. Ты ешь?

- Да.

- Тогда заходи. Шаньги стынут.

Она повернулась и пошла в дом. Не оглядываясь. У двери остановилась. Посмотрела мимо меня. На дочь.

- А ты чего встала? - сказала она. - Девять лет шла, ещё постоишь?

Ирина стояла у машины. Я обернулся. Она стояла, держась за дверцу, и у неё было такое лицо, какого я ещё не видел. Ни на допросах. Ни на переходе. Ни на пожаре. Как будто ей снова было девятнадцать, и она только что выскочила из автобуса.

Потом она отпустила дверцу. Пошла по дорожке через огород. Двадцать метров. Она шла медленно. Поднялась на крыльцо, мимо меня. Остановилась перед матерью.

Они стояли и смотрели друг на друга. Мать на голову ниже. Дочь в сером пальто, мать в фартуке. Одинаковые глаза.

- Похудела, - сказала мать.

- Ты тоже.

- Я старая, мне можно.

Ирина открыла рот. Ничего не сказала. Мать подняла руки, в муке, и положила их ей на щёки. Подержала. Потом притянула к себе. Ирина наклонилась. Уткнулась лицом матери в плечо, в цветастое платье, в муку.

Я поднял переноску с котом и вошёл в дом, мимо них. Чтобы не смотреть. Это было не моё.

* * *

Шаньги были с картошкой. Тёплые. Тамара Ивановна поставила передо мной тарелку с пятью шаньгами и кружку молока. Я съел все пять. Она поставила ещё три. Я съел.

- Ест, - сказала она дочери. С удовлетворением. Как будто это что-то доказывало.

Ирина сидела напротив и не ела. Смотрела в кружку. Глаза у неё были красные.

Кухня была большая, с русской печью, с клеёнкой на столе, с ходиками на стене. У кукушки в ходиках не было головы. На подоконнике стояли банки с рассадой. На стене висели фотографии. Свадьба. Девочка с бантами в первом классе. Мальчик с удочкой.

Я не смотрел на фотографии. Я смотрел в тарелку.

- Спать будешь наверху, - сказала Тамара Ивановна. - В Костиной.

Ирина подняла голову.

- Мам.

- А где ещё? Внизу горница, моя, твоя и кухня. Наверху Костина и чердак. На чердаке он не поместится, там я сушу рыбу.

- Мам. Не в Костиной.

- А чего? Комната стоит. Кровать стоит. Пыль я вытираю. Семнадцать лет вытираю. Пусть человек поспит. - Она посмотрела на меня. - Тебе ведь всё равно где?

- Мне всё равно, - сказал я.

Мне не было всё равно.

Комната была под самой крышей. Скошенный потолок. Окно на море. Кровать, застеленная синим покрывалом. Стол. Стул. Полка с книгами: "Морская практика", "Остров сокровищ", учебник навигации. На стене карта Белого моря, старая, с карандашными пометками. На столе модель парусника, недоклеенная. Стеклянная банка с ракушками.

И фотография. В рамке. На стене над кроватью.

Мальчик лет семнадцати. Рыжеватый, светлоглазый, широкоплечий, с короткой стрижкой. В оранжевом жилете, на фоне моря. Он смеялся, запрокинув голову. Солнце било ему в лицо, и он щурился и смеялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.